

Леонид Бляхер

*Кадии
по Розочке*



Леонид Бляхер

Кадиш по Розочке

«Издательские решения»

Бляхер Л.

Кадиш по Розочке / Л. Бляхер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-932803-8

Это книга про обычных людей, совсем не героев, в совсем необычное время, когда весь мир рухнул, превратился в обломки, несущиеся ветром по миру. И есть только одно, что заставляет их жить, с невероятным упорством выстраивая из этих обломков «свой уголок» — ЛЮБОВЬ. О любви, которая сильнее, чем война, власть и смерть, мне хотелось поговорить с вами, дорогие читатели.

ISBN 978-5-44-932803-8

© Бляхер Л.
© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
Глава 1.	8
Глава 2. А Додик все же свадебку сыграл	18
Глава 3. Петроград – холодный город	24
Глава 4. Решение принято	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Кадиш по Розочке

Леонид Бляхер

Моим дорогим бабушке и дедушке посвящается...

Редактор Ирина Батраченко

© Леонид Бляхер, 2018

ISBN 978-5-4493-2803-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Утро было невероятным, чистым и свежим – в далеком южном городе в кольце синих гор, напоминающих купола гигантских мечетей, утренние часы ранней весны бывают именно такими. Небо, напоенное синевой, раскинулось над многоэтажками, над глинобитными домиками за высокими заборами, над улицами, где по краям журчали арыки и росли ряды чинар, сплетающихся ветвями над головами прохожих. Еще немного – и серая пыль покроет дома, улицы, деревья, жителей. Станут привычными жара и липкий пот, текущий за шиворот. Пока же – только свежесть и прохлада.

На далеких холмах, подернутых нежной зеленой травой, то здесь, то там загорались всплохи первых тюльпанов. Праздник природы, проснувшейся после зимы и вступившей в силу, катился по земле, заставляя чаще биться сердце всякого, способного чувствовать, видеть, переживать.

На окраине города в кольце синих гор, во дворе дома, на явно самодельном табурете, врытом в землю, сидел старик. Точнее, немолодой человек, враз ставший стариком. Легкий ветерок ворошил венчик пегих волос вокруг его загоревшей лысины. В саду ласково шелестели листьями яблони, уже покрывавшиеся белыми цветами. На розовых кустах намечались бутоны. Майнашки – местные скворцы – распевали свои вечные трели...

Сам же старик как-то не гармонировал с окружающим его праздником природы, не вписывался в ликующую картину утра. На его коричневом от загара лице было... нет, не горе – скорее, удивление. Бесконечное удивление и обида. Вопрос «почему?», казалось, застыл на его губах.

Рядом с ним, на сдвинутых лавках, стоял гроб, обитый красной тканью. В нем лежала она – та, что была привычной целью и смыслом всей его уже совсем не маленькой жизни. Или не она?.. Было странно и страшно находить в неподвижном лице покойницы знакомые черты. Старик неуверенно протянул руку к ней. Но что-то – не совсем понятно, что – остановило его. Рука зависла на полдороге и неожиданно для самого старика упала на колено.

Во дворе сустились люди; краем глаза старик видел их. Вот недалеко стоит сын. Взрослый уже совсем. Глаза красные, напряженные. Вот прошла невестка. На ней поминки. Побежала на кухню хлопотать. Вот кто-то подходит к нему. Что-то говорит. Наверное, соболезнования. Но все это было где-то там, в другой реальности, где наливалась весенней силой новая, молодая жизнь. В его мире был только этот гроб с женщиной, лежащей в нем. Розочкой. Его Розочкой...

Он помнил каждую минуту последних дней вместе. Знак тревоги тогда словно висел над всем, что было вокруг. Болезнь – неожиданная, неправильная, ненужная – вползла в их жизнь, заполнила ее до отказа. Он долго не хотел соглашаться на операцию. Почему-то сама мысль, что его жену станут резать (пусть даже во благо), претила ему. Но она приняла эту напасть, как и все в жизни – с терпением и спокойствием: значит, так надо. Так когда-то давно приняла она замужество, решенное родителями; решенное без нее. Так принимала все, что посылала жизнь с ее непутевым Додиком. Приняла и это.

Долгих пятьдесят два года отмерила им судьба вместе. Разное было. Но было главное – семья. Не потому, что так говорили старшие, не потому, что так учили мудрые Книги – просто она любила его, любила безоглядно. За что? Тут и не скажешь... За их первую ночь в той, совсем уже далекой, юной жизни в Бобруйске. За их первые долгие вечера в съемной петербургской квартире при желтом свете настольной лампы. За уют их дома, где бы этот дом ни находился. А может быть – за его жесткую ладонь, которая всегда оказывалась рядом, нежно и крепко сжимая ее ладошку. А может, за что-то другое. Или ни за что... Да и не любят «за что». Просто любила и все. Где-то совсем в глубине души сидела непоколебимая уверенность

ность, что он, ее Додик, сумеет вытянуть ее из любой беды. Так и было. За любовь он платил такой же неожиданной, но безоглядной, навзрыд, любовью.

В самый последний их день было как-то не по себе; да и не только ей. Все вокруг нервничали, старались реже попадаться друг другу на глаза. Тогда она смогла собраться, подавить страх. Старик помнил, как спокойно, уж слишком спокойно, она поговорила с сыном. «Будто завешание прочитала», – пришло тогда в голову ему, не привыкшему к многословию своей молчаливой жены.

Долго сидела с невесткой в дальней комнате дома. О чем говорили? И не узнаешь теперь; у женщин свои тайны. Вышли оттуда обе со слезами в глазах. Крепко прижала к себе внучат. Теперь понятно – чувствовала, что уходит; прощалась.

Тогда ему казалось, что все это немножко слишком. Обещали, что операция будет несложной, через неделю можно будет забрать больную домой. Уже когда подъехало такси, чтобы отвезти ее в больницу, Роза подошла к мужу. Долго, непривычно долго смотрела она на него, вглядывалась в знакомые черты; потом вдруг припала к его груди. И сказала то, что не говорила никогда в прежней жизни: «Я тебя люблю, Давид! Очень люблю!»

Не привыкший к таким выражениям чувств, муж смутился. Почему-то стал проверять сумку с вещами – не забыли ли чего? Потом... Потом крашенная грубой синей краской дверь в хирургическое отделение закрылась, уводя от него его Розочку. Навсегда.

Тогда, неделю тому назад, он еще не понимал этого. Ходил с передачами, договаривался с врачами и сиделками, чтобы все прошло хорошо. Кого-то благодарил. С кем-то ругался. Бегал по городу, находя знакомых, имеющих отношение к медицине, чтобы они «поговорили с кем надо».

Но открылась дверь, и молодой врач в застиранном халате будничным тоном сказал, что операция прошла неудачно – сердце больной не выдержало. И замолчал. А Давид все ждал, что сейчас он продолжит и скажет, что нужно сделать, чтобы все было хорошо, чтобы они были вместе с Розочкой. Молчание затягивалось. Наконец, Давид выдал из себя невозможную фразу:

– Она умерла?

– Да. Примите мои соболезнования.

Он не понял. Не принял. Выражение обиды и удивления легло на лицо и уже не покидало его. Это не может быть правдой! Это какая-то путаница. Они ошиблись! Но известие, от которого отказывалось сознание, приняло тело: крепкий, хоть и немолодой мужчина вмиг превратился в старика. Огромные плечи ссутулились; он устало опустил на ближайшую скамейку в длинном коридоре и завыл.

Вот и теперь словно стена отделила его от суеты вокруг. Он сидел рядом с телом жены – оторванный, вырванный из всего. И чем более зыбкими становились очертания жизни вокруг, тем явственнее проступала та, ушедшая жизнь. Жизнь, в которой они были вместе.

Глава 1.

Путешествие из Петербурга в Бобруйск

Паровоз исправно дымил, колеса выстукивали одним им известный ритм. В коридоре вагона первого класса у окна стоял молодой человек, почти мальчик, в ученической шинели с вензелем на наплечнике. Накинута на непропорционально широкие плечи шинель придавала всей его фигуре какой-то угловатый вид, более подходящий вокзальному грузчику, а не пассажиру первого класса. Правильные черты лица, почти прозрачные голубые глаза и густые темно-русые волосы несколько исправляли ситуацию. Впрочем, любоваться его внешностью было некому, а самому ему она была в тот момент не особенно важна.

Юноша растерянно, даже как-то отрешенно, смотрел на чахлые деревца, проплывающие мимо, на покосившиеся избушки, уныло провожающие маленькими окнами пробегающий поезд, на незасеянные по военному времени поля. Иногда мимо поезда и навстречу ему проносились другие составы. Чаще – военные, уже ставшие привычным атрибутом ежедневного быта. Война шла уже третий год. Юноша не был заинтересован пейзажем – скорее, пытался собраться с мыслями, глядя на пустые поля.

Причиной растерянности (как и самой поездки) стало неожиданно полученное письмо от бабушки. Бабушка Пая-Брайна была не только его воспитательницей и опекуницей, но и главой огромного торгового клана, раскинувшегося от Сибири до Лондона. Собственно, ее стараниями он и жил в Петербурге. Для всех ближних (и не только ближних) в родном городе юноши, Бобруйске, ее слово имело силу закона. Да разве только в Бобруйске? Лесная торговля, торговля тканями и колониальными товарами, банки, сибирские меха, паровые мельницы и одному Единому известно, что еще. Все это держала в своих цепких руках его бабушка.

Первая купеческая гильдия, в свидетельство о которой был вписан и сам юноша, давала ей возможность открывать представительства во внутренних губерниях, торговать иностранными товарами, поставлять русские товары на международные рынки, давать детям образование. Вот и юноша, носивший библейское имя Давид, заканчивал не какой-нибудь хедер в Жмеринке, а Императорское коммерческое училище. Об этом говорил и вензель на шинели, и цвет околыша фуражки, лежащей на полке в купе.

Лишь однажды всемогущая Пая-Брайна, которую в Бобруйске называли не иначе, как «хозяйка», столкнулась с неповиновением. И чьим? Любимой дочери, в которой она души не чаяла. Следствием этого неповиновения и стало появление Додика, а также его брата и сестры. Было это уже почти двадцать лет назад.

В одном из галантерейных магазинов Паи-Брайны, торгующих на центральной – Муравьевской – улице, служил приказчик Юдель. Приказчик и приказчик. Бойкий малый, язык подвешен, лицом тоже совсем не урод. Происходил он из семьи меламеда, учителя – едва ли не самой непрестижной профессии в городе. В отличие от мясника или, к примеру, молочника меламеру платили всегда в последнюю очередь. В синагоге его место было у самой двери. А домик располагался неподалеку от кладбища, на городской окраине.

От отца Юдель унаследовал любовь к книгам, причем, далеко не только Священным. Из книг же Юдель заимствовал обороты, которые потом вплетал в свою речь. Обороты те напоявал разили робкие сердца окрестных девиц. Да и фамилия у него была подстать – Соловейчик. Несмотря на бедность, выглядеть он старался настоящим франтом: до блеска начищенные штиблеты, накрахмаленный воротничок, отутюженные брюки, аккуратно застегнутая жилетка. Если к тому прибавить еще и глубокий и томный взгляд, то станет понятно, что ни одна покупательница не уходила из магазина без покупки, а девичий стон сопровождал его проход по улице

в выходной день так же, как крики «ура» – проезд монаршего поезда. Одним из сердец, разбитых проклятым сыном меламеда, на беду стало сердце дочери Паи-Брайны, Ханны.

Девушка из приличной семьи, которой прочили лучшие партии в городе, совершенно потеряла голову. В штетле (местечке) трудно было что-то скрыть, и несмотря на всё могущество семьи и уважение к ней всех горожан, по городу поползли сплетни, одна хуже другой. Говорили, что Ханна уже предалась блуду с Юделем; называли даже места их свиданий. Находились умники, которые утверждали, что молодые уже решили стать выкрестами и гоями, чтобы бежать из Бобруйска. Обсуждали, конечно, и то, что будет делать Пая-Брайна или ее старший сын, Насон – просто набьют наглому голодранцу смазливую физиономию или сгноят его на сибирской каторге?

И только Юдель и Ханна не чуяли сгушавшихся над их головами туч, не ждали надвигающейся грозы. Юдель, похоже, и сам не рад был, что его возлюбленной оказалась дочка Хозяйки (а Хозяйку он боялся до дрожи), но поделаться с собой ничего не мог. Тайные свидания продолжались, и гроза разразилась. Юделю указали на дверь, настоятельно рекомендовав как можно скорее покинуть город. А с Ханной был долгий и очень не тихий разговор в кругу семьи. Но Ханна была дочерью своей матери. Унаследовала она не только холодные голубые глаза, но и стальную волю. На все увещевания домашних ответ был один: я буду с ним! Выгоните из города – уйду с ним бродяжничать. Посадите в тюрьму – поеду за ним. Убьете – умру вместе с ним. Родственники не поверили.

Ханну заперли в доме, приставив к дверям двух рослых девок «для услужения». Тогда она столовым ножом попыталась вскрыть себе вены. Попытка не удалась, но перепуганная видом окровавленной дочери мать решила переиграть дело по-другому. Юделя отыскивали, привели в приличный вид и... женили на Ханне.

Свадьба проходила с соблюдением всех установлений, с заключением брачного договора, благословением невесты из уст самого уважаемого раввина. Вот только радости у Паи-Брайны было немного. Но судьбу нужно принимать, а не роптать на нее. Магазин, где прежде управлял ненавистный сын меламеда, похитивший сердце и разум ее дочери, Хозяйка выделила в их совместную собственность. Купила им дом неподалеку от Базарной площади – должна же дочка с чего-то иметь курочку к столу и приличную одежду при посещении синагоги.

Но в сердце она этот брак не приняла, не смогла пересилить неприязнь к зятю, змеей прокравшемся в ее дом. Не смягчило ее сердце даже то, что, на зависть всем окружающим, молодые жили душа в душу, а муж не только не поднимал руки, но даже голоса на свою супругу не повышал, боготворил ее. Даже когда дочь одарила ее первым внуком, и могущественная женщина позволила своим нелюбимым родичам бывать в доме, холод в отношениях оставался. Впрочем, внука, Додика, она любила самозабвенно, постоянно забирая его к себе «на пару дней». Додик был добрым и общительным мальчиком, унаследовавшим от деда Исаака, покойного супруга Паи-Брайны, широкие плечи и сильные руки.

Но счастье Юделя и Ханны было недолгим: после Додика был второй сын, Рувим, а еще через год – дочка; родами дочери Ханна и умерла. Не спасли ни дорогие врачи, ни усердные молитвы. Пая-Брайна забрала детей дочери к себе. Сама оформила опекунство, сама и воспитывала. С отцом видаться не запрещала, но и не поощряла эти встречи.

Впрочем, Юдель и сам интереса к своему потомству не проявлял. После смерти супруги он так и не пришел в себя. Все чаще прикладывался к рюмке. Застывал на месте. Упирался взглядом в стену напротив себя. Так он мог сидеть часами. От прежнего лоска не осталось и следа – Юдель ходил по городу растрепанный, постоянно что-то бормотал себе под нос... Его увещевали уважаемые в городе раввины, смотрели врачи, но толку с того было кот наплакал. За магазином стал присматривать доверенный человек семьи. Деньги на жизнь бывшему зятю Пая-Брайна выделяла, хотя тот, похоже, и не замечал этого – голодал по нескольку дней, сидя, как верный пес, на могилке жены. Если бы не служанка, приставленная тещей, он и вообще бы

забывал про пищу земную. Через несколько лет такой жизни Юдель исполнил свою мечту – оказался рядом с любимой. На городском кладбище...

Дети же росли у бабушки. Были они на удивление крепкими и благополучными. Старший внук, Додик, с младых лет отличался недюжинной силой. Однако характер имел мирный, и потому верховодил всегда его младший брат, Рувим. С ним вместе они дрались с мальчишками с других улиц, залезали в соседские сады за кислыми яблоками и сливами, строили «тайные штабы».

Пая-Брайна легко прощала детские шалости, хотя для порядка и бранила расшалившихся внучат. Впрочем, бабушке более по сердцу был Додик. Ее порода в нем чувствовалась сильнее. В Рувиме нет-нет, да и проскакивали мечтательность и авантюризм сына меламеда. Оба внука отличались успехами в чтении, письме и счете, с гувернанткой учили французский и английский языки. Приходящий учитель занимался с ними русской словесностью, а раввин – изучением Книги Книг. Дочка Ханны Ребекка, очень похожая на мать, росла пока без науки, на руках нянек. Ей бабушка прочила хорошую брачную партию, потому науками внучку особо не утруждала.

Когда Додику исполнилось одиннадцать лет, он, сопровождаемый старшим приказчиком, по воле бабушки отправился к дяде, старшему сыну Паи-Брайны, жившему в Петербурге. В письме от бабушки, которое прибыло вместе с ними, было приказано найти для Додика хорошее учебное заведение. Рувим же поступил в ту пору в гимназию в Вильно. В конце концов, после долгой беготни, консультаций со знающими и влиятельными людьми дядя Насон добился, чтобы Давида допустили до экзаменов в Императорское коммерческое училище – «Училище у Пяти углов», как его называли горожане.

Додик до сих пор помнил, с каким трепетом он шел на свое первое испытание. Помнил ощущение тесного воротника, мешавшего вертеть головой, чтобы разглядеть разные диковины. Костюм стеснял движения, а тщательно уложенные и покрытые бриолином волосы очень хотелось взлохматить. Был конец августа – самое любимое время года там, дома. Здесь же казалось, что всё природное, живое вытеснено на задворки. Серый камень, серое небо. Огромный город с высоченными домами, множество хорошо одетых и незнакомых людей, конки и экипажи, плотным потоком текущие по широченному проспекту – все это смущало и подавляло мальчика.

В родном Бобруйске дома были в один, два, редко – в три этажа. Число высоких зданий было наперечет. А встретить незнакомца в городе было делом совсем не частым. Даже крестьяне, съезжающиеся на базарную площадь продавать продукты своего хозяйства и покупать в лавках городские товары, были знакомыми. С ними дружили или не дружили – как выходило. При этом все знали, что у Василия Степановича лучшее молоко. А вот овес хороший у Демьяна-хромого. Каждый раз, когда Додик проходил или проезжал по городу с бабушкой, им встречалось множество знакомых людей. Они останавливались, приветствовали их. Бабушка обязательно отвечала. Спрашивала о здоровье, о гешефте. И только после отправлялась дальше, по своим делам.

Здесь же все было чинно и странно. Люди, идущие навстречу друг другу, не здоровались, не останавливались для беседы. Они, как и экипажи, словно протекали по проспекту, казавшемуся Додику бескрайним. От реки-проспекта отделялись человеческие ручейки, затекавшие в дома, присутственные места, магазины. Поначалу каждый дом ему представлялся дворцом государя императора или по крайней мере министра. Правда, дядюшка быстро объяснил ему, каков он, императорский дворец. Такой не спутаешь. Зимний дворец и огромную площадь перед ним, важных гвардейцев, охраняющих подходы к площади, мальчик запомнил надолго. Но и кроме этого диковин хватало: огромные магазины с подсвеченным электричеством витринами, фонари, освещающие вечерние улицы, театры, похожие на древние храмы из рассказов учителей, да много еще чего.

Приближаясь по Фонтанке к зданию, где должно было состояться испытание, он едва не задышался от волнения. Но все обошлось. К отпрыску купца первой гильдии, племяннику известного профессора, отнеслись терпимо, несмотря на иудейское вероисповедание (правда, при упоминании об этом факте экзаменаторы несколько изменились в лице). Вопросы были несложные, а письменные задачи так и вовсе простые. На следующий день Додик узнал, что принят в число учащихся.

Особо близких товарищей в училище не появилось. Дети питерского купечества, как и дети состоятельных крестьян, держались отдельно, подчеркивая свое столичное происхождение. Приехавшие со всех концов огромной империи провинциалы ходили одиночками, насторожено присматриваясь к окружающей их жизни. Также настороженно смотрел на мир и Додик.

Уже на первых занятиях оказалось, что знает он много больше своих однокурсников. Счет, письмо, даже русская словесность давались ему легко. Языки он знал – к бабушке часто приезжали ее партнеры из Англии, Франции и Германии, а в обязанности Додика было водить важных гостей по городу. В результате переход с языка на язык не был для него проблемой. Правда, с греческим языком и латынью отношения были напряженными, но упорство и здесь приносило свои плоды. Хуже обстояли дела с историей: Додик никак не мог понять, зачем нужно знать даты битв, которые произошли тысячи лет назад, для чего ему нужно жизнеописание правителей, чьи кости уже давно истлели? История казалась ему чем-то схожей с изучением Талмуда: понимать не обязательно, нужно просто заучить. Преодолевая лень и скуку, он заучивал бесконечные ряды дат и имен. Профессура, и даже учитель истории, его явно выделяли.

Поначалу питерские однокашники решили «поставить его на место», но крепкие руки и привычка к драке сыграли свою роль. Хотя синяки и шишки долго не сходили, а инспектор, надзиравший за младшими учениками, как правило, оказывался на стороне обидчиков, последние скоро поняли, что «просто пугануть» не выходит – Додик не желал быть жертвой. А синяки и кровоподтеки появлялись также и на их лицах и боках. В конце концов, его оставили в покое. Появились даже приятели, хотя и не близкие.

Гораздо больше приятелей появилось у него среди продавцов и приказчиков петербургских лавок поблизости от дома дядюшки, располагавшегося недалеко от Сенной площади. Это были свои, понятные люди. С ними можно было поговорить о жизни, о торговле, о ценах. В свободное время он часто околачивался на Сенной, сравнивая питерские цены с ценами в родном Бобруйске. Внимательно приглядывался к тому, как приказчики привлекали покупателей, как предлагали товар. Это было важно. Постепенно он стал там своим. Хотя дядюшка и не одобрял этого общения («для тебя это неподходящее знакомство»), но и не запрещал. Его супруга с сыном, двоюродным братом Додика, и вовсе смеялись над увлечением бобруйского родственника. Но главное, что это было интересно самому Додику. Да и в учебе помогало.

В училище же было намного скучнее. На переменах, в туалетах и укромных углах бесконечных коридоров разговоры шли все больше о происках немцев и англичан, о политике и страшных революционерах, которые стреляли в самого царя. Ученики пересказывали разговоры старших. А те, в свою очередь, делились друг с другом мнением популярной газеты. Этих разговоров Додик не любил и не понимал. Зачем сотый раз повторять чье-то мнение, даже если оно верное? Правда, были и «нормальные» разговоры: про дело родителей, про жгучую тайну взаимоотношения полов. Старшекурсники тайком курили в туалетах. Вскоре к этому занятию попытался приобщиться и Додик но удовольствия не получил. Скорее, даже испугался, когда после глубокой затяжки закружилась голова и стали слезиться глаза. Он под смех старшекурсников тихо сполз по стенке, решив, что курить он не будет. Там же, в ученическом туалете, эдаком неформальном клубе училища, Додик впервые увидел изображение обнаженной женщины, которое один из старшекурсников демонстрировал своему приятелю.

Впрочем, еще меньше нравились ему вечера в доме у дядюшки. Дядюшка жил в большой квартире, расположенной на втором этаже нового дома совсем недалеко от огромного Невского проспекта. Весь дом – от крыши до полуподвала – покрывали какие-то завитушки, украшения, которые, с его точки зрения, больше подошли бы торту, а не дому. Да и сама атмосфера в доме дяди была какой-то ненастоящей.

У Додика постоянно возникало чувство, что все окружающие играют в какую-то непонятную игру, которая никак не связана с жизнью, известной мальчику. Дядя играет в какого-то «европейского интеллектуала». Он постоянно что-то судил, говорил об общественном прогрессе, о европейском пути и о тому подобных, далеких от мира Додика, вещах. Если мальчик, пытаясь понять что-то из сказанного дядей, обращался к нему, то вместо ответа получал нуднейшее рассуждение о «спящей провинции» и «незрелых умах современной молодежи». Впрочем, в делах практических дядя тоже был вполне сведущим человеком, сыном своей матери. Это невероятно удивляло мальчика. Дядя Насон то говорил, как какой-нибудь клоун в цирке, то действовал совсем как настоящий купец – быстро и жестко.

Тетушка Ребекка (Раиса Михайловна) играла в «романтически настроенную даму». Так она сама сказала как-то Додику. То есть, она сказала, что она «романтически настроена в жизни». Насколько понял Додик, это означало постоянное восторженное состояние, неестественную речь, восторг по поводу каждого модного спектакля, книги или музыкального произведения, участие во всех мероприятиях, где собиралась «духовная аристократия нашего времени», то есть популярные поэты, писатели и музыканты.

По вторникам у дяди Насона тоже собирались «аристократы духа». Правда, немного в другом составе. Здесь преобладали его университетские коллеги, известные адвокаты. Журналисты тоже были. Бывали «на вторниках» и поэты, чьи имена встречались в модных журналах. На таких вечерах говорили о вещах и вовсе непонятных: о реформах, о законах и параграфах, об «ответственном министерстве». То вдруг заводили споры о «воле и представлении», о воле к власти или еще какой-то другой несурзности; пели какие-то не очень понятные Додику песни, пили кислое вино. Супруга дядюшки и его сын присутствовали на этих собраниях с большим удовольствием – собрания были важной частью их жизни. Додик же, пару раз посидев в уголке на диване во время жаркого диспута о будущем России, предпочитал уклоняться от них, ссылаясь на большие задания в училище.

В своей комнате он чувствовал себя намного увереннее. Там на полке аккуратно расставлены учебники по его любимым предметам: бухгалтерскому учету и логистике. Там в толстой ученической тетради медленно и тщательно составлялся план его будущего предприятия, которое принесет ему богатство. А деньги, как известно, это и независимость, и слава, и возможность сделать что-то такое, от чего дух захватывает. Там же под крышкой письменного стола была спрятана фотография матери и отца, которых он почти не помнил. Это был его маленький Бобруйск, куда он сбегал от столичной суеты.

Несмотря на все сложности в понимании столичной жизни, учиться и жить в Питере Додику нравилось. Чем дальше шла учеба, тем меньше оставалось у них пустых предметов типа латыни, греческого или истории. Их учили определять качество товара, вести бухгалтерские книги, определять выгодность сделки, учитывать и уменьшать накладные расходы. Одноклассники засыпали на этих «скучных» предметах, Додик же точно представлял, как он это будет делать там, дома, на предприятиях бабушки. Он очень хотел, чтобы она не просто похвалила – хотел, чтобы она им гордилась. На летних каникулах он с удовольствием возился с бухгалтерским учетом на лесопилке, мельницах и в лавках. Бабушка его и правда хвалила. А он учился еще упорнее. Большая золотая медаль, дающая звание коммерции советника и почетного гражданина Санкт-Петербурга, становилась все более реальной.

Нравилось Додику и то, что законы иудаизма в доме дядюшки соблюдались гораздо мягче, нежели в Бобруйске. К чтению Торы или соблюдению субботы относились, скорее, как

к забавной фольклорной традиции, чем к важнейшему обряду веры. Долгие чтения Свитка на праздники, во время которых Додик мужественно боролся со сном, здесь отсутствовали. Не было и многих установлений, строго соблюдавшихся в провинциальном Бобруйске. Его чаще спрашивали о том, хорошо ли он спал, а не о том, помолился ли он утром. Додик начинал постепенно входить во вкус столичной жизни.

Бабушка высылала на его содержание каждый месяц сорок рублей. Сумма немалая. Первые годы дядюшка брал деньги себе, выдавая ежедневно несколько копеек мальчику на карманные расходы. После бар-мицвы, праздника совершеннолетия, все стало иначе. Дядюшка брал из этих денег десять рублей за стол, остальное отдавал самому Додику.

Первое время он просто не знал, куда можно деть такие деньжищи. Но потом все пошло на лад: Додик полюбил обедать в модных столичных трактирах, которые здесь на европейский лад называли кафе. Стал бывать в театре, опере, синематографе. Хотя оперу так и не полюбил – уж слишком искусственно там все было. Да и не поют нормальные люди, а разговаривают. Вот драма и комедия понравились больше, особенно там, где рассуждали о жизненных вопросах, а не на всякие умные темы.

Да и сам театр – пышный, шумный, важный и одновременно легкий – привлекал невероятно. Однажды Додик поделился с дядюшкой своей мечтой стать драматическим актером, играть на сцене. Он даже прочел монолог Гамлета, особенно полюбившийся ему. Дядюшка внимательно выслушал его, а потом сказал:

– Давид, ты уже не мальчик. Подумай, что за жизнь у актера? Не жизнь, а мука. Он зависит от режиссера, инспектора, директора. Живет в постоянных интригах, с маленьким жалованием. Меньше, чем бабушка присылает тебе. Ты хочешь такой судьбы? А ведь это самые успешные актеры. Великими, известными всей России, становятся единицы. А сколько среди них спившихся, погибших? Это только из зала их жизнь кажется праздником. Ты понял меня?

– Понял, дядюшка.

– Вот и подумай, такую ли судьбу желаем для тебя мы, да и ты сам.

Додик согласился с дядюшкой, но в душе осталась какая-то зарубка. Этот мир, пусть совсем не такой праздничный, как ему казалось, продолжал манить его. За долгие годы жизни в доме бабушки, да и дядюшки, Додик привык соглашаться. Проще было потом все сделать так, как он сам считал правильным. А от спора и крика только горло сорвешь и хороших людей огорчишь. А оно надо? Не надо. Потому и не спорил. Подумал и решил, что театр подождет. Сначала он станет таким же богатым, как бабушка. А уже потом создаст свой театр, где будет играть главные роли.

В глубокой тайне, вдвоем с приятелем он побывал и в публичном доме. Дядюшка (как и училищный инспектор) такого визита явно не одобрил бы. Долго шли, прячась по переулкам, оглядываясь, нет ли знакомых. Потом, натужно смеясь, стояли перед дверью в «заведение», не решаясь позвонить. Казалось, что там, за дверью – какой-то необыкновенный, тайный мир неслыханных наслаждений. Но ожидания тайного и небывалого не воплотились: все произошедшее напомнило ему скорее упражнения в спортивном зале училища, а не райское блаженство. Было противно за себя и за этих женщин. Было ощущение, что его обманули в чем-то самом важном. Правда, после этого визита он стал поглядывать на сверстников свысока, как обладатель хоть и не особенно приятного, но тайного взрослого знания.

Зато намного больше понравились визиты в заведения, где взрослые люди играли на деньги в разные игры. Там, в пышно обставленных залах, царил особая атмосфера азарта, риска, очень нравящаяся Додику. Особенно понравился ему бильярд. И не просто понравился: шары слушались его, летели туда, куда направлял их мощный удар его кия. Да и рубль, а то и полтора, выигранные им, делали эту игру чем-то совершенно особым. Как говорили в Бобруйске про редкий товар или необычное предложение: пимпер лагефер. Конечно, бывали и неудачи, когда в кармане оказывалось на полтинник, а то и на рубль меньше. Но постепенно

отношение к «юноше» изменилось – он стал одним из признанных мастеров. Это тоже льстило самолюбию: с ним, пятнадцатилетним юнцом, считаются взрослые господа. Словом, жизнь шла, и скорее хорошая, чем плохая.

Потом как-то совсем неожиданно началась война. Еще в июне ее ничего не предвещало. Даже и по возвращению в Петербург он не почувствовал приближения чего-то. Газетчики кричали о главном событии – убийстве австрийского эрцгерцога Фердинанда. Событие обсуждалось на улицах, на вторниках у дядюшки. Сколько этих «важнейших событий эпохи» помнил Додик! Пообсуждали и забыли. Но в этот раз было все иначе: почему-то это событие решило не уходить в небытие. За ним последовали другие, связанные с ним. Прозвучало слово «война». В следующие годы новые слова стали вторгаться в жизнь все чаще. Но это слово было первым.

В августе того года их собрали в актовом зале училища под портретом царствующего императора и зачитали манифест о начале войны. После был торжественный молебен о победе русского оружия. Такие же молебны шли по всему городу. Да наверняка и по всей России. Недели не стихали крики патриотических толп под окнами дядюшкиной квартиры, шли крестные ходы... Потом как-то все успокоилось. От угара первых дней остались только вопли мальчишек-газетчиков да новые темы для разговоров в кафе.

Правда, комедий в театрах стало идти меньше. Меньше стало на улице и людей в парتيкулярной одежде. Зато прибавилось военных, которых и до того в Петербурге было немало. Постепенно привык Додик и к новому названию столицы – Петроград. Однако в целом жизнь изменилась не особенно сильно. Занятия в училище продолжались, в доме дядюшки собирались привычные люди – адвокаты, врачи, университетская профессура. Разве только разговоров о войне и политике тоже прибавилось, а про философию, которую Додик особенно сильно не любил, говорить стали реже.

Гораздо больше изменений нашел Додик во время летнего пребывания дома, в Бобруйске. В здании реального училища расположился военный госпиталь. Его пациенты в грязных застиранных халатах часто показывались в городе, выпрашивая махорку. Очень много стало всяких военных чинов. Эшелоны с войсками постоянно следовали через Бобруйск на Запад. Обратно шли составы с покоренной техникой, ранеными. В наспех выстроенных на окраине города бараках расквартировались резервные части и маршевые роты, которых готовили к отправке в окопы. Здесь, несмотря на все попытки «навести порядок», царили воровство, пьянство и самый гнусный разврат. Да и чем можно было испугать людей, которых и так гнали на смерть?

Жизнь в бабушкином доме тоже изменилась, хотя и не особенно сильно. По-прежнему по дому сновали приказчики и управляющие, раздавался громкий голос хозяйки. Дела шли не то чтобы уж совсем в гору, но шли. Додик принимал в них все более активное участие. Западный рынок был потерян (там шла война), но, пользуясь связями, бабушке удалось получить несколько казенных подрядов. Шла в гору торговля зерном, галантерейным товаром, мехами.

Еще более разительными были перемены в Бобруйске в следующее лето. Русские армии отступали. Военных в городе стало еще больше. По ночам, да и в светлое время, по городу ходили патрули, отлавливая дезертиров и бандитов, во множестве сновавших по городским окраинам и ближайшим сёлам. Зато многих жителей (особенно евреев) выселяли во внутренние губернии. Закрылось много маленьких магазинчиков. В оставшихся на Муравьевской улице и на Базарной площади магазинах цены взлетели едва ли не вдвое; особенно дорожала еда. Да и продавцов сильно поубавилось. Через город потянулись вереницы беженцев: от войны в неизвестность шли усталые, покрытые пылью люди с нехитрым скарбом на телегах или с мешками за спиной. Кто-то селился у родственников, но основной поток шел дальше. Бобруйск все больше превращался в прифронтный город. Немцы стояли уже в Барановичах – меньше, чем в двух сотнях верст.

Война постепенно вползала и в Петербург, ставший Петроградом. Воодушевление первых дней и даже месяцев войны сменилось всеобщей апатией или ожиданием катастрофы. Цены в магазинах и в лавках на Сенной тоже взлетели к заоблачным высотам. Все чаще на окраинах города стали собираться толпы рабочих, матросов, солдат. Они что-то кричали, размахивали руками. По городу поползли речи о скором бунте. Появилось уже подзабытое словечко «революция». Разговоры о ее близости стали еще одной модной темой.

Но если в Бобруйске новая военная реальность врывается в каждую клеточку жизни, то в Питере она пока ютилась на задворках. При известном желании ее можно было бы и не замечать. Занятия в Императорском училище шли своим чередом, становясь все ближе к действительным заботам коммерсантов. Вечерами зажигались огни театров, синематографов и других увеселительных заведений. В доме дядюшки продолжали собираться люди. Только от философии, права и литературы разговоры постоянно переходили к политике, войне и возможной революции. О революции и «грядущем Хаме» говорили шепотом, но все чаще и чаще. Революционерами оказывались и профессора, и актеры, и адвокаты. Было непонятно, как же еще стоит империя, если все вокруг революционеры. Впрочем, это не очень заботило юношу: Додик готовился к практической части обучения, которая должна была проходить в торговых конторах и банках. Но...

Несколько дней назад пришло письмо от бабушки. Тонем, не предполагавшим возражений, в нем сообщалось, что он должен срочно прибыть в Бобруйск на... свадьбу. Кстати, свою собственную. Дядюшка как-то решил вопрос в училище. Додику был предоставлен отпуск от учения «по семейным обстоятельствам». И вот он несется в поезде к дому.

Почему свадьба? Еще три месяца назад, когда он был дома, не было никаких разговоров о свадьбе. Точнее, был какой-то странный разговор, что «о будущем Додика нужно позаботиться», но это было как-то вскользь. И почему, скажите на милость, будущее – это обязательно свадьба? Так не делаются дела. Ему совсем недавно минуло семнадцать лет. По Закону жениться, конечно, можно и сразу после бар-мицвы – в тринадцать лет и один день. Но они же живут в новом, другом мире. Они – современные люди.

Ему нужно завершить образование, нужно сделать свой, не бабушкин, капитал. Хотя, конечно, от ее помощи он отказываться не собирался. Но и на ее шее сидеть бы не стал. Тогда можно подумать и о свадьбе, о своем доме. Не хочет же бабушка, чтобы он был нахлебником-шлимазлом? Додик продолжал теряться в догадках, когда поезд уже подходил к вокзалу Бобруйска.

Вокзал был все так же забит армейскими эшелонами. Гражданских на перроне было немного. Непривычно пустой выглядела и привокзальная площадь. Вместо снующей, галдящей и торгующей толпы возле крыльца теснились лишь несколько торговков да печальный полицейский.

Додик прыгнул с высокой ступеньки вагона на перрон и огляделся. От привокзальной площади, перескакивая лужи, к нему бежал огромный и рыжий служитель Шломка из бабушкиной конторы. Добежав, он чуть не в охапку схватил юношу и повел – точнее, поволок – его к пролетке, ожидавшей их неподалеку.

– Давид Юделевич, хозяйка Вас уже заждалась. Такая новость, я аж не знаю, что такое! – непонятно болтал он.

– Что за новость-то, Шломо? – кое-как выдавил из себя Додик.

– Как же, как же... завтра Алекснянские приезжают, – опять непонятно протараторил Шломка.

Алекснянские были деловыми партнерами бабушки из Минска. Почему их приезд – это «такая новость», было непонятно. Минск – совсем близко к фронту. Хотя... постойте, похоже, что одна из трех дочек Алекснянского и должна стать его супругой. Кто? Неизвестно. Да и не видел он ни одну из них. Какой смысл гадать?

Давид решил выяснить все на месте. Все равно у этого балабола толком не выпросишь. Откинувшись на спинку, он уже спокойнее осмотрелся. Колеса месили привычную городскую грязь. Огромные лужи плескались под копытами лошади, изредка обдавая мутной водой прохожих на тротуарах. Лишь кое-где через лужи были брошены деревянные мостки. Только на центральной Муравьевской улице да на некоторых прилегающих к ней «богатых» переулках грязь вытесняла булыжная мостовая. Лавок с последнего приезда как будто стало немного больше. Вон к магазину Хаима Лифшица пристроили этаж. Патрулей тоже прибавилось. Пока едем, уже три патруля прошли. Да не конные, как раньше, а пешие. Какие-то не бравые совсем.

Впрочем, наблюдать ему пришлось недолго: вскоре пролетка свернула с главной улицы и подъехала к новому дому бабушки. Он был необычным – с башнями, французскими окнами в пол, непонятными куполами. Чем это странное строение понравилось бабушке, было трудно понять. Но именно она приказала построить его. Точнее, приказала разобрать его в Риге и возвести здесь, в Бобруйске. Это было давно, задолго до войны. Но дом этот по-прежнему называли новым домом.

Бабушка ждала его в кабинете на втором этаже. Она была в строгом синем платье без украшений, волосы с проседью собраны в клубок на затылке. На носу – очки в дорогой роговой оправе, отчего взгляд ее казался особенно значительным и строгим:

– Здравствуй, внучек! – проговорила она ласковым голосом, очень не вяжущимся с ее обликом. – Как добрался?

– Благополучно, бабушка, – почтительно ответил Додик. Это была не только дань традиции – бабушку он почитал искренне.

– Ну, ладно. Садись. Разговор у нас небыстрый будет.

Додик расположился в кресле напротив окна. Бабушка вышла из-за стола, села рядом. Взяла его руку в свою. И, глядя в глаза, начала разговор:

– Послушай, Додик! Ты уже совсем не мальчик. И успехи у тебя дай Всевышний каждому. Все это так. Но надо понимать, что скоро меня не будет. И тебе придется пробиваться в жизни без меня.

– Баб...

– Не перебивай! Я знаю, что говорю! Будет это через год или через десять лет – неважно. Но меня, как и любого, примет земля, пока Всевышний не пробудит нас для вечной жизни. Вот после того, как меня не станет, все достанется моим сыновьями, твоим дядьям. Твоя матушка, вечная ей память, свою долю уже получила.

Твоим будет только магазинчик Соловейчика. Да и тот ты будешь делить с беспутным братцем, которому только бы перед девицами в Вильно красоваться. А время сейчас беспокойное. Война. Какие-то социалисты и прочие шлимазлы. Все хотят правды. А что бывает, когда все хотят правды? Правильно: полный гармидер. Все летит кверху ногами. Как бы и тебе в эту яму не свалиться. Ты меня понимаешь?

– Понимаю, – проговорил Додик, соглашаясь с бабушкой скорее по привычке, чем потому, что понял ее речь.

– Не такого будущего я тебе хочу. Вот поэтому ты и женишься на дочке Хаима Александриянского. Не перебивай меня! Она – девица добрая. Говорят о ней только хорошее. Я узнавала через доверенных людей. Будет тебе верной женой. Но главное не это. Они – люди состоятельные, уважаемые. За дочерью дают хорошие деньги. И я на тебя кое-что отпишу.

– Бабушка, милая! – вскочил юноша. – Я же ее никогда не видел! Не знаю даже, как ее зовут!

– Сядь и слушай, внучек! Ишь, как взвился. Так ведь и она тебя не видела. Не для похоти люди женятся. Это – дело, а не чувство, – засмеялась Пая-Брайна. Потом как-то сразу помрачнела: – Ты думаешь, я знала твоего дедушку Исаака, земля ему пухом, до дня обручения? А прожили мы жизнь дай Господь каждому. Считай, что это твой долг перед семьей. Ваш брак

усилит и их, и нас. Это сейчас важно. Когда мир летит кверху тормашками, нужно объединяться, чтобы выжить. Понял? Вот и хорошо.

– Зовут-то ее как? – нерешительно спросил Давид. Ему совсем не улыбался брак с неизвестной девицей. Пусть она хоть три раза самого достойного поведения. Но... вдруг она хромая или горбатая? Или вдруг она какая-нибудь дурочка из штетла? И что он с ней будет делать? Но при всех этих мыслях он прекрасно понимал, что возможности уклониться от воли бабушки у него нет. Все, или почти все, что было в его жизни, шло от нее.

– Рахиль ее зовут. Рахиль, не Лия, – опять засмеялась бабушка. – Роза, если по-русски. Они уже почти не айде. Говорят на русском языке, в русских гимназиях детей учат. Не выкресты, но к столу трэфное подают. Ну, нас это не касается. Ты ж сам не талмудист?

Додик усмехнулся. Видимо, она была в курсе вольной жизни в доме дядюшки. И за великий грех это не считала.

– Считай, – продолжала бабушка, – что это гешефт. Ты получаешь капитал, получаешь звание коммерции советника. Пока ты будешь доучиваться, я прослежу, чтобы твои денежки не лежали без толку. А вернешься – сам управляй ими. Ты меня понимаешь, майне херцен? – погладила она его, как в детстве, по голове.

– Конечно, бабушка.

– Вот и молодец. Ты не думай, у твоей старой бабки еще хватит сил подумать за всех своих детей и внуков. Все будет хорошо и правильно. Ты у меня будешь первым коммерсантом во всей губернии. А теперь пойді в свою комнату, подбери себе одежду на завтра.

– Мне быть в форме?

– Нет. Давай лучше надень что-нибудь партикулярное. Фрак надень. Оно будет приличнее. И свату понравится. Иди уже. Мне еще нужно кое-какие бумаги просмотреть. А ты пока кольцо посмотри, что я для твоей невесты подобрала.

Глава 2. А Додик все же свадебку сыграл

Роза, пятнадцатилетняя девушка с упрямо не желающими укладываться в прическу иссиня-черными кудряшками волос, уже второй день чувствовала себя, как говорится, не в своей тарелке. И было от чего: ее отец, сестра и она сама ехали знакомиться с ее будущим мужем. Она знала, что так будет. Родители договорятся о браке, составят брачный договор, и она станет женой какого-то совершенно неизвестного ей человека. Что такое быть женой она пока представляла себе не очень. То есть, она видела, как живут ее родители. Знала, что отец относится к матери с неизменным почтением. Мать же за это платила ему самой искренней преданностью.

И это было правильно. Меха́вая фабрика и мастерские по пошиву самой разной одежды, разбросанные сегодня по всей Белой Руси от Вильно до Гомеля, некогда принадлежали отцу Розочкиной матери, дедушке Якову. Но Всеблагой не давал ему наследника – дети, рождавшиеся в браке, умирали совсем маленькими. Выжила только дочь Малка. Но и она не отличалась особым здоровьем. Часто болела, была худенькой, почти лишенной женских форм. Отец очень переживал, что к его дочери сватались только проходимцы, которым он не оставил бы не то что свое дело, но даже старые калоши в солнечный день.

Дедушка Яков был человек, который не любил надеяться на чью-то помощь. Он решил сам найти подходящую партию для своей дочери. И нашел. На одной из его фабрик был управляющим Ефим Алекснянский. Юноша был из не особенно богатой, но достойной семьи. Его отец был портным, держал мастерскую в Гомеле. Сам Ефим был крепким парнем с отменным здоровьем и веселым нравом. Но главным (по крайней мере, для дедушки) было то, что он был прирожденным коммерсантом.

Ефима перевели в Минск, стали приглашать в дом. Там родители Розочки и познакомились. А позже, направляемые твердой рукой дедушки, потянулись друг к другу, сыграли свадьбу. Вскоре (или не очень вскоре – Розочка тогда еще была совсем маленькой) дедушка Яков упокоился навек, а все хозяйство принял ее отец Ефим Исаакович. Он получил богатство, о котором не мог даже мечтать, а мама Розочки получила любящего, внимательного супруга. Впрочем, отец не только не пустил семейное богатство по ветру, но умножал его, открывая новые предприятия, заключая новые и новые сделки.

Знала Розочка и о том, что в браке рождаются дети. Ее мама, Мария (по-еврейски – Малка), очень часто, как она говорила, «ждала для Розочки братика или сестричку». Но слабое здоровье сказывалось. Из девяти детей, рожденных Марией Яковлевной, живыми остались только три дочери. Старшей и была Розочка. Перед самым отъездом у них был долгий разговор с матерью. После традиционных поучений на тему «как вести себя с женихом и его родственниками, как быть скромной, но одновременно гордой», разговор повернул совсем в другое русло:

– Доченька, муж может быть опорой или обузой, – вдруг проговорила мать. – Тут дело не в красоте или богатстве. Тут другое. Если он обуза, то каким бы он не был золотым, с ним жизнь не проживешь. В любом дворце с таким будет не жизнь, а мучение. Он и себя, и тебя измучает.

– Мне хочется, чтобы он был добрым и ласковым, – нерешительно произнесла Розочка.

– Дело не в ласковых словах, хотя это тоже очень нужно. Дело в том, готов ли он стать всем для тебя, а ты – для него. Сможет ли твой будущий супруг защитить тебя, поддержать в трудную минуту. А таких минут, поверь мне, будет очень много. Зато если муж – опора, то все будет хорошо. Ты будешь каждый день открывать в нем новые и новые достоинства, будешь любить его так, как любят самое дорогое в жизни.

– Папа говорил, что мой жених из хорошей семьи и будет хорошим коммерсантом.

– Это важно отцу. Наверное, это и мне важно. Я не хочу, чтобы моя дочь мыкалась с хлеба на воду. Но для тебя важнее – твой ли это человек. Его ли ты половинка. Это трудно объяснить; сама почувствуешь.

Вот и думала Розочка, сидя рядом с сестрой в закрытом экипаже, как она должна это почувствовать? А что делать, если он не твой? Бежать? Глупо как-то выходит – как в плохих книжках, которые отбирала у нее мадам Поли, исполняющая роль бонны и советчицы. Еще больше беспокоило Розочку то, что взрослые называли невнятными словами «супружеский долг». Мадам Поли рассказывала ей об этом долге. Почему-то она говорила, что это – неземное наслаждение. Но Розочке даже думать об этом было стыдно и неприятно: она – и какой-то незнакомый мальчишка, который почему-то станет ее мужем?..

До Бобруйска можно было доехать ночью. Но отец решил, что лучше будет заночевать в трактире по дороге, а уже утром приехать к будущей родне.

Ночь прошла ужасно. Розочка долго не могла заснуть. Сестра веселилась вовсю, приставала с неприличными разговорами. Розочка даже ответила ей как-то резко, от чего сама смутилась. Когда же сон, наконец, сморил ее, начались кошмары. Кто-то непонятный – но она знала, что это ее муж – гнался за ней, кричал грубые слова. Она, почему-то в ночной сорочке, убегала от него, падала, снова убегала. От ужаса Розочка часто просыпалась. Утром, все еще под впечатлением от страшных снов, Розочка, с трудом уложив непокорные волосы и едва приведя себя в порядок, села в экипаж.

Отец был весел, шутил. Вера с неодобрением рассматривала разбитую мостовую и невысокие домики Бобруйска. Только Розочка не могла отвлечься. Она опустила голову, стараясь ничего не видеть и не слышать. Ей казалось, что ее все бросили и принесли в жертву. Хотелось плакать.

Наконец, они подъехали к необычному двухэтажному деревянному дому, очень красиво украшенному резьбой, с огромными окнами и изящной лестницей. На лестнице, возле которой они остановились, стояли высокая пожилая дама в строгом темном пальто, женщина и мужчина помоложе и юноша, почти мальчик, в черном фраке и пальто, наброшенном на плечи.

Он был невысоким, но с широкими сильными плечами, синими-синими глазами и такими же, как у Розочки, неуправляемыми кудряшками, только русого цвета. Открытое и простое лицо, которое немного портили тонкие губы. Взгляд мальчика был таким напряженным и взволнованным, что Розочке вдруг захотелось его пожалеть.

Первая встреча с будущей женой получилась не слишком удачная и очень беспокойная. Холодным осенним утром к дому, где на крыльце уже стояли бабушка, ее младший сын Эфроим с женой и сам Додик (все торжественные, в праздничных одеяниях), подъехал закрытый экипаж. Из открывшейся двери, не дождавшись слуги, выскользнула тоненькая девчушка в теплом пальто и кокетливой шляпке. Она внимательно осмотрела встречающих, и с брезгливым видом проговорила: «Все же здесь ужасная глушь. Как я и думала».

Сердце Давида екнуло и опустилось куда-то к желудку. С такой вертихвосткой жить? Пропадешь. Но вида он не подал. На лице сохранялось самое приветливое, как ему казалось, выражение. Бабушка же говорила, что это – сделка. Значит, эта неприятная девчонка – издержки. Столь же невозмутимыми были и бабушка с дядькой.

Следом за девочкой, опираясь на плечо слуги, из экипажа выбрался дородный господин в дорогом пальто, лакированных штиблетах по виленской моде и с тростью с тяжелым серебряным набалдашником. А следом за ним тихо спустилась невысокая девочка, может быть, годом или двумя старше первой. В отличие от сестры (а в том, что они сестры, не было сомнений) черты лица ее были несколько крупнее, но это не портило ее. Напротив, лицо казалось

более выразительным. Густые темные волны волос были аккуратно уложены, заплетены в косу, спускающуюся из-под шляпки. Взгляд ее был хоть и взволнованный, но твердый, без вызова и агрессии.

Девочка, теребя в руках платок из тонкой шелковой материи, опустила глаза. Почему-то в этот момент Давид сразу понял, что это она, его невеста. Что-то в ее облике показалось Додикуну невероятно теплым и знакомым. Она чем-то напоминала ему его маму на немногих старых фотографиях, хранившихся в петроградском доме. Это показалось странным – у матери были огненные волосы и голубые глаза. Здесь глаза были карими, а волосы черными. Вот только взгляд...

Дородный господин радостно и как-то по-свойски приветствовал бабушку. Кивнул дядюшке и подмигнул с хитринкой Давиду: мол, не теряйся, парень. От этого Давиду как-то сразу стало легче.

– Ну, здравствуй, матушка Пая-Брайна, – громко провозгласил гость, приблизившись к хозяевам. – А это – дочки мои, Роза и Вера. Прошу любить и жаловать.

Девочки, поднявшиеся следом, вежливо сделали книксен перед хозяевами.

– И тебе здоровья и благополучия, Ефим Исаакович! И дочкам твоим, – степенно отвечала бабушка. – А это – мой сын Эфроим и внук Давид.

Все чинно проследовали в гостиную, где был накрыт завтрак. Роза, проходя мимо Давида, только скользнула взглядом. Спокойно и как-то по-доброму улыбнулась. Давид улыбнулся в ответ. Сердце вернулось на свое законное место и... опять стало тихонечко екать. Правда, теперь от ожидания. Вера, младшая дочь, напротив, внимательно и долго – на грани приличия – осматривала Давида, как диковинного зверька, после чего недовольно хмыкнула.

За столом говорили все, кроме Давида и Розочки. Несмотря на то, что их посадили рядом, что-то не давало им свободно обратиться друг к другу. А может, Розочка (уже не Роза, а Розочка) просто была молчаливой. Они сидели, уткнувшись в тарелки, и разглядывали на дне что-то необычайно интересное. Только к концу завтрака молодые немножко расслабились. Стали обмениваться взглядами, в которых было не только любопытство – ведь им вместе теперь жить много-много лет. Додик помнил свой неудачный опыт платной любви. Но к Розочке оно как-то не вязалось. От нее веяло чем-то другим, волнующим и совсем не гадким.

Бабушка, успевавшая обсуждать с отцом Розочки и Веры очередную совместную сделку, следить за столом («чтоб все у меня тут сыты были») и посматривать на молодежь, вдруг заявила:

– Вот что, молодые люди, пойдите-ка, погуляйте по городу. Давид, покажи девушкам Бобруйск. А нам, старикам, еще о делах поговорить нужно.

Додик с облегчением покинул стол; девочки тоже поднялись. Пока Роза и Вера надевали пальто и шляпки, он нашел извозчика, придумал, куда повезет свою невесту и ее сестру. Собственно, выбор был небольшой: синематограф «Эдем», а потом кафе в гостинице «Березина», самом большом и красивом здании в городе. Почему-то без взрослых было проще. Он был старшим, Розе исполнилось пятнадцать лет, а Вере было и того меньше, потому должен был заботиться.

Это было понятнее, чем роль жениха, которая его смущала донельзя. Да и Роза, перестав быть «невестой», оказалась девочкой вполне общительной и дружелюбной. Даже Вера, которую Додик про себя звал «Веркой-вертихвосткой», была вполне терпимой. Фильма была про любовь. У девочек в глазах блестели слезы. Додик же едва не заснул в темном и теплом зале синематографа. Зато в кафе, угощаясь сладкими пломбирными шариками с шоколадной заливкой, все трое болтали без умолку.

Роза в этом году выпустилась после седьмого класса института. Вера еще училась. Она очень смешно показывала своих учителей и классную даму. Роза сердилась, говорила, что

это невежливо и грубо. Оказалось, что Розе тоже очень нравится театр. Но еще больше – книги. Особенно такие, где приключения и далекие страны. Додик тоже любил почитать. Хотя и не очень. Биржевые сводки и бухгалтерские отчеты, как ему казалось, говорили о жизни гораздо больше. Хотя об этом своей невесте, которая нравилась ему все больше, он пока решил не говорить. Зато очень много рассказывал о Петербурге, о театрах и кафе, об огромных витринах магазинов, о Неве и каналах. Домой вернулись друзьями. То есть, предстоящее бракосочетание продолжало смущать обоих, но уже не казалось катастрофой. Во всяком случае, Додику.

Гости поселились во флигеле. День свадьбы (как и дни перед ней) был наполнен суетой и беспокойством. Бабушка и отец Розы постоянно что-то обсуждали, привлекая к разговору и Додика, и дядю Эфроима. Додик больше молчал, поскольку обсуждали вещи, в которых он мало что понимал. У Алекснянского была меховая фабрика, где шили шубы, шапки, манто и прочие предметы одежды. Бабушка же поставляла меха и сукно на эту фабрику. Но долгая дорога делала себестоимость мехов огромной. Особенно теперь, когда большая часть составов везла военные грузы. Сложности были и с вывозом готовой продукции. Потреблялось это в основном в Англии, Бельгии и Голландии. Что-то покупали в Германии и западных губерниях России.

Обычный путь товара через Германию отпадал. Год назад после отступления русской армии отпала и Польша. Обсуждали северный маршрут, через княжество Финляндское и Швецию. Додик порой вставлял замечания по учету, уменьшению налогооблагаемой суммы, по прохождению таможи. Когда он предложил более дешевого перевозчика, о котором знал от своих учителей, Алекснянский посмотрел на него с уважением и вниманием.

Вместо того, чтобы поститься с мыслями о Едином, думать о своих обязательствах перед будущей женой и их потомством, Додику вместе с бабушкой и сватами пришлось множество раз оговаривать и переговаривать брачный договор, который, несмотря на всю светскость будущей родни, составляли по всем правилам Галахи. Сваты обещали выделить молодым по двадцать пять тысяч рублей «на прожитие и гешефт». Подробно описывались обязанности мужа перед женой при разных жизненных коллизиях. Казалось, что старшие решили предусмотреть все, что может случиться с их потомками.

Чтобы увидеться с Розочкой, перекинуться с ней словом, расспросить, как прошел день, Додику удавалось найти минутку лишь изредка. Это немало огорчало юношу. Почему-то быть с Розочкой ему хотелось гораздо сильнее, чем обсуждать условия гешефта. Он уже не думал о будущей свадьбе, как о сделке. С Розочкой ему было просто и хорошо. Впрочем, день свадьбы, которая и радовала, и смущала его, приближался.

И, несмотря на все старания, назначенный день настал. В зале установили хупу – брачный шатер, символизирующий крышу общего дома, под которую входит новая семья. Приехали брат Рувим, дядюшка из Питера, многочисленная родня невесты. Кого среди гостей только не было: русские, литовцы, евреи, поляки – друзья дома и семьи, родичи, просто уважаемые люди губернии. Были здесь важные господа из Вильно, Минска, Бобруйска и Гомеля, гости из царства Польского...

Под чтение благословений Додик дрожащими руками закрыл лицо Розочки бадекенom (вуалю). Вместе вошли под сень свадебного шатра, хупы. Розочка была какой-то другой – не смущенной как при первой встрече, не веселой, как в кафе, а строгой и торжественной, отстраненной. Вместе произносили слова молитвы.

Голос дрожал, когда Додик надевал на палец невесты кольцо, произнося слова на древнем языке: «Вот, с этим кольцом ты посвящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля». Их пальцы встретились, а лица сблизились. Додик вдруг увидел сквозь вуаль, что у Розочки в глазах плещутся слезы, губы чуть заметно вздрагивают. Он словно впервые увидел ее лицо, полное истинной библейской красоты и жертвенности.

– Господь наш, какое же она чудо! И Она – моя жена! – пронеслось в голове у Давида. Он почти не чувствовал мира вокруг себя. Он видел только свою Розочку, казавшуюся с каждым мигом все более красивой и желанной. Бабушка поднесла бокал с вином невесте и передала его Хаиму, который поднес его Давиду. Юноша неожиданно для себя отхлебнул изрядный глоток. В глазах тестя, принявшего бокал, заиграли смешинки. Вино было терпким и ароматным. Стало немножко легче. Он уже уверенно разбил стакан, завернутый бабушкой в кусок ткани.

– Мазл тов! Счастливой жизни! – кричали гости.

Потом все смешалось перед глазами. Танцы, здравицы, опять танцы. То быстрые и веселые, то тягучие и грустные звуки инструментов лучших кляйзмеров Бобруйска, шутки бадхена, обязательного тамады на свадьбе. Громогласная бабушка, несколько скрипучий и «начальственный» голос отца Розочки, выкрики непоседливого Рувима, который теперь, после гимназии, осваивал мировую новинку – самолет, монотонное чтение положенных молитв раввином... Все это смешалось в одно пестрое колесо.

Помнилось только немного испуганное, а потому особенно строгое лицо Розочки, ее огромные карие глаза, дурманивший запах, идущий от ее волос. Его мужской опыт был слишком мал и не особенно радостен, чтобы вообразить себе то, что последует позже. Он скорее боялся этого, чем желал. Но желание гладить эти волосы, целовать эти губы было почти невыносимым.

Когда же они, наконец, остались вдвоем, их обоих охватила неуверенность. Двери в комнату под совсем даже не смешные шуточки бадхена закрылись, а они продолжали стоять, не решаясь сделать первое движение, боясь ошибиться, обидеть другого. Как быть и что делать не знали ни он, ни она.

Минуты бежали. Наконец, Давид медленно подошел к своей жене – уже жене. Снял с лица вуаль, медленно и очень осторожно, точно боясь разбить, провел кончиками пальцев по лицу Розочки, по волосам и также осторожно коснулся губами ее губ и почувствовал движение ее тела навстречу...

Потом была долгая ночь с неумелыми ласками, неуклюжими попытками выглядеть более опытным, чем был на самом деле.

... Уже под утро, когда, измученные ночным приключением, от которого полагается приходить в восторг, они тихо лежали рядом друг с другом на огромной постели под балдахин, Розочка уткнулась лицом в грудь Давида и заплакала. Плакала она долго и сладко-сладко. О чем? Да ни о чем. О жизни, о мужчине, которые уже стал для нее самым родным, о своих детских грезах, о том, что она стала женщиной и женой, но ничего в себе нового не чувствует.

Додик, пытаясь успокоить, нежно гладил жену по голове:

– Ну, что ты? О чем ты? – шептал он.

А она все плакала и плакала. Слезы лились из глаз, вымывая все дурное, что было в душе, унося прочь страх и тревогу. Благословенные слезы счастья, горя, освобождения.

А потом был долгий и сладкий сон.

Додик проснулся первым; приподнялся на локте. Сквозь тяжелые плотные шторы свет едва пробивался. Розочка спала. От ночных слез ее губы и носик припухли. Но Додику это казалось особенно трогательным. Он долго-долго смотрел на свою жену, свою женщину. Потом осторожно коснулся губами ее щеки, шеи.

Розочка открыла глаза. Пальцы скользнули в пышную шевелюру мужа.

– Додик... Хороший мой...

– Розочка, – почти прошептал он. И жадно припал к ее губам.

Через три дня поезд уже вез Додика в Петроград. Но если в Бобруйск он ехал в самых раскрепощенных чувствах, то сейчас настроение было совсем другим – рядом с ним в купе сидела его

любимая женщина, его жена, его Розочка. Радость распирала его от темечка до пяток. Сердце екало при каждом взгляде на Розочку. Даже колеса отстукивали веселый ритм. Унылый пейзаж за окном с чахлой зеленью вдоль дороги и тот казался радостным. И Додик, и Розочка болтали о всякой всячине, поминутно вскакивая к окну, чтобы показать друг другу «нечто особенное» в пробегающих мимо чахоточных красотах. Даже когда уже совсем ничего не показывалось, они просто держались за руки и смеялись. Радость просто рвалась наружу. От чего? Просто от жизни. Оттого, что они рядом, а дальше судьба сулит им только счастье.

В соседнем купе ехал дядюшка Насон. Он испытывал гораздо меньше радости. Сама поездка была ему не то чтобы в тягость, но особого удовольствия не принесла. Множество новых забот. Вот и с молодыми. Нужно будет подыскать им квартиру в Питере – в его квартире им совсем не место. Ну, это ладно. Не большая проблема. Гораздо хуже то, что происходит в стране. Цены растут, люди звереют, войне нет конца. Ох, не кончится это добром. И что делать прикажете? Уже долгие месяцы эти мысли не давали ему покоя.

Нет, он, конечно, за прогресс и свободу. Только вот получается, как правило, не прогресс со свободой, а якобинство с террором, беззаконие. И что тогда? Кому тогда нужен ординарный профессор? Матушка уверена, что любую беду пересилит. До сих пор так и было.

А вот он уверен гораздо меньше. Жизнь-то будет другая, с другими правилами. Если в той жизни вообще будут какие-то правила. И им в той новой жизни места нет. Никому нет. Ни коммерсанту, ни профессору, ни адвокату. Насону уже давно было страшно – с того дня, как он, случайно оказавшись на окраине Питера, первый раз увидел огромную толпу безоружных – пока безоружных – солдат и матросов из резервных частей, громко выкрикивающих антиправительственные лозунги, и полицейских, мирно стоящих поблизости, со вниманием слушающих солдатские речи и крики. Они, а не люди его круга и есть революция. Просто не все еще это осознали.

Им – нищим, неудачникам и бездельникам – нужны не прогресс и свобода, не европейский путь развития. Им нужна месть. Страшная месть всем, кто выше, успешнее и образованнее. Они и будут править бал. Они, как новые гунны, опрокинут все, что породила цивилизация. А все прекраснодушные мечтатели будут просто раздавлены этой страшной серой массой.

Его коллеги толкуют о новом человеке, рождающемся на наших глазах. Как же. Это – не новый человек и не естественный человек, которого придумал мечтатель Руссо. Это – страшный маргинал, который прежде таился в подвале вместе с крысами и тараканами. Теперь он уже заявляет о себе на улицах Питера и Москвы. Он и придет к власти на волне крови. Какие счастливые дурачки, эти Додька с Розочкой. Милуются рядом. И нет им дела до того, что весь мир, столетия культуры полетят в тартарары. И ведь скоро полетят...

Насон вышел покурить, но сигара не успокаивала. Смех, доносившийся из соседнего купе, раздражал. Наконец, стихло. За окном стояла глубокая ночь. Колеса продолжали свой бесконечный перестук. Уже и в нем усталому сознанию мерещилось что-то враждебное. Насон попробовал заснуть. Чем больше он старался, тем меньше было сна. За стенкой зашуршало. «Милуются», – почему-то зло подумал он. Однако это и отвлекло его от печальных мыслей. Сон, наконец, начал входить в его мир. Поезд уже приближался к Петрограду.

Глава 3. Петроград – холодный город

Питер принял их сумрачным и дымным холодом позднего осеннего утра. Еще не рассвело, и фонари горели всюю. На перроне сновали военные, но и гражданских лиц хватало – толкались извозчики, носильщики, торговцы с лотками. Додик быстро спрыгнул на перрон, помог спуститься Розочке, отвел ее чуть в сторонку от снующих по перрону толп. Сам вернулся, чтобы проследить, как носильщик будет спускать их багаж из вагона. Дядюшка – не выспавшийся, с самым недовольным выражением лица – пошел искать извозчика. С трудом загрузились и поехали; пока – к дядюшке. Розочка крутила головой во все стороны, поминутно задавая вопросы, ахая от очередной столичной диковинки. На правах столичного жителя Додик объяснял ей, что к чему. Ему была приятна роль знатока; он радовался, что Розочка с ним, в его жизни. Даже серое утро и недовольный вид дядюшки не особенно портили настроение.

У дядюшки не задержались, даже вещи не стали распаковывать. Только привели себя в порядок и отправились искать квартиру внаем. Собственно, отправились дядюшка и Додик, а Розочка осталась дома. Додику показалось, что это неправильно – ведь им в этой квартире жить вместе, значит, она тоже должна посмотреть. Но дядюшка строго заявил, что это блажь.

Сначала, конечно, смотрели объявления в газетах (за чаем в гостиной). Прикидывали цены, описание. Додику понравилась квартира на Миллионной. Но там за вполне скромное жилье с одной спальней, гостиной, кабинетом и комнатой для прислуги просили тысячу рублей в год. Больше тысячи просили за наем жилья на Итальянской улице, недалеко от училища. Вот в районе Литейного проспекта цена была меньше, а квартира лучше. Совсем дешевые квартиры сдавались на Петроградской стороне. Там за год просили меньше пятисот рублей. Но уж очень далеко это было. Да и место недоброе. В конце концов нашли квартирку возле Загородного проспекта, недалеко от дома дядюшки. И до училища можно пешком дойти, если выйти чуть пораньше. Почти центр. И цена приемлемая – шестьсот рублей в год.

Бабушка и тесть увеличили содержание молодых до ста рублей в месяц. Сумма немалая; должно хватить и на проживание, и на обустройство. Все было, как положено. Дядюшка, как ни торопил его Додик, все внимательно осмотрел. Осмотром дядюшка остался удовлетворен. Заключили договор найма, все честь по чести. Уже через три дня Розочка и две нанятые девушки (одна – горничной, другая – кухаркой) приводили квартиру в жилой вид, десятки раз переставляя мебель, подбирая цвет занавесей в гостиной и спальне, расставляя всякие женские мелочи, от которых жилье становится родным. Постепенно все как-то встало на свои места.

Возвращаясь из конторы, в которой проходил практику, Додик всякий раз наблюдал дома какую-то приятную перемену. Временное жилье становилось их с Розочкой домом. И главным украшением этого дома была, конечно, сама Розочка – всегда внимательная, очень спокойная и, одновременно, общительная. Она с интересом слушала рассказы Додика о коммерческих премудростях, которые он узнавал, о новых знакомых. С радостью угощала супруга освоенным ей блюдом.

Впрочем, кухонная премудрость давалась ей не особенно. Всякий раз, когда она сама, без кухарки, хотела побаловать мужа чем-то новым, блюдо подгорало, невероятно огорчая Розочку. Но Додик не просто мужественно съедал все, но и искренне хвалил любимую. Розочка рассказывала, где была в городе, что видела. Ее первые рассказы были самыми восторженными. Огромный город, экипажи, сотни нарядных людей на улицах, магазины с самым разным товаром, сама Нева – все это восхищало ее.

Однако чем дальше, тем больше появлялось в ее рассказах тревожных ноток. На улицах, даже в самом центре, все чаще стали появляться совсем другие люди, непривычные в имперской столице: множество каких-то солдат, матросов и плохо одетых гражданских лиц. Все они

собирались в кучки, громко разговаривали, кричали страшные вещи. Исчезало чувство безопасности. Полицейские уже не просто не старались задержать или хотя бы призвать к порядку крикунов, но сами стали от них прятаться. Да и стало полицейских намного меньше.

Зато на улицах в изобилии развелось карманников. Как-то Розочка долго плакала, когда на Сенной у нее вытащили кошелек с деньгами. Додик, как мог, успокаивал любимую. Оставив ее на несколько часов одну, он отправился в бильярдную, где не бывал с самого возвращения из Бобруйска, и вернулся с «похищенными» тремя рублями. Выиграл. Но пока решил больше не бывать там. Ведь теперь он рисковал не своими, а их деньгами.

Вечерами часто ездили в театр. Это и Додик, и Розочка любили больше всего. В дом проникала какая-то новая атмосфера, дыхание праздника, другой – яркой и возвышенной – жизни. Они долго подбирали одежду, ждали экипаж. Додику невероятно нравилось ехать в экипаже по городу, беседуя с женой, как бы невзначай касаясь рукой ее руки или волос, выбивающихся из под шляпы. Огорчало только то, что по зимнему времени экипаж был закрытым. Да и на улице уже стояла темнота. Додику хотелось хвастаться своей замечательной, невероятной супругой, своей нежной Розочкой всему миру.

Иногда они вдвоем выбирались поужинать в рестораны. Это тоже было событием: сверкающие залы ресторана «Метрополь», строго одетые господа, дамы с многочисленными украшениями и в открытых платьях, расторопные и корректные официанты. Хотя ресторанный кухню Розочка не особенно полюбила, зато ей нравилось сидеть за столиком рядом с Додиком, ловить на себе его восхищенные взгляды, слушать певицу, поющую «чувствительные» романсы.

Но еще больше ей нравились «длинные» вечера дома. Впрочем, Додику тоже. После нетопливой трапезы, которая особенно хорошо получалась, если Розочка полностью доверяла ее кухарке, они шли в «кабинет». В кабинете стоял настоящий письменный стол с удобным креслом для работы, был книжный шкаф с законами и установлениями, регулирующими коммерческую деятельность. На столе стояли письменный прибор, лампа под зеленым абажуром. Для конторы, где Додик проходил обучение, он там порой что-то писал. Он очень любил составить план своих дел на следующий день, чтобы потом, вычеркивая каждый уже исполненный пункт, идти по этому плану.

Но главное здесь было не это. Напротив книжного шкафа с официальными и деловыми книжками высился его собрат с книжками совсем не деловыми: стихи, романы, литературные журналы здесь правили бал. В кабинете стояли два удобных кресла, небольшой журнальный столик, тоже с лампой под абажуром; небольшой, но удобный диван, который Розочка долго выбирала в магазине. Собственно, комната эта, хоть и называлась кабинетом, была, скорее, именно для таких вечеров.

Они, отпустив прислугу, усаживались в кресла. Порой Розочка забиралась с ногами на диван, укрывала колени пледом. На столик возле кресел выставлялся чайник с ароматным напитком, вазочка с любимыми конфетами и... вечер начинался. Они рассказывали друг другу о той далекой и странной жизни, когда еще не знали друг друга, читали вслух любимые книги, просто сидели рядышком, наслаждаясь покоем, теплом, идущим от жарко натопленной печи-голландки, радостью от того, что самый родной и важный человек в мире – рядом. Додику в эти минуты представлялось, что он всегда знал Розочку, что всю жизнь они прожили вместе.

Казалось, что этой невероятной и одновременно реальной жизни не будет конца. Казалось, что мир будет состоять из спокойных, заполненных приятными заботами дней и жарких ночей, которые из непонятной обязанности все больше превращались в самое желанное время в жизни, когда весь белый свет сжимался только до их горячих тел, существующих только друг для друга.

Но все менялось в мире, постепенно сжимаясь вокруг маленького счастья двух молодых людей страшным стальным кольцом. Настоящая злая и мерзкая реальность все сильнее надви-

галась со всех сторон, вползая в самые теплые уголки их жизни, давя и разрушая все, что было дорого.

Первым звонком стал приезд бабушки. Под самый конец декабря она прибыла на поезде вместе со всей бобруйской частью семьи. Кроме дядюшки и Додика «бобруйскую хозяйку» встречали на вокзале десятки каких-то не совсем понятных людей. Пая-Брайна резко и вдруг поменяла всю работу фирмы. О причинах перемен она не распространялась, а люди привыкли делать то, что скажет «хозяйка». Она распродала большую часть своих предприятий. Продан был даже дом, который она так любила.

Бабушка тоже сняла квартиру в Питере, правда, в самом центре, на Невском. Да и квартира была не в пример больше, чем жилье Додика и Розочки. После недолгой встречи она, да и все, кто был с ней связан, начали жить совершенно в другом темпе. Большая часть средств семьи изымалась из банков, переводилась за границу. Главным образом, в банки Британии. Предприятия продавались, контракты передавались связанным с ней фирмам.

Додик, как и прежде, старательно готовился к занятиям, но теперь гораздо больше времени проводил с дядями и бабушкой, помогая им тихо и не особенно заметно сворачивать деятельность фирмы в России. При этом ответа на вопрос «а зачем это нужно?» он долго не получал. Да, положение в стране сложное. Идет война. Но победы генерала Брусилова давали надежду на ее скорое окончание. Австрияки практически разбиты, немецкий фронт стабилен, а сами германцы все менее хотят воевать. Все идет к победе. А там все потихоньку выправится. Тем более, что появятся новые земли, новые торговые пути, новые рынки. Так он считал или так ему хотелось считать. Да и не ему одному. Мысль, что все как-нибудь успокоится, сквозила в речах почти всех знакомых и полужнакомых Додика. Только как должно выглядеть это «как-нибудь» не понимал никто.

Казалось, что только родня Додика выпадает из общей картины. Правда, там, на окраине Петрограда, где квартировали части, направляемые на фронт, там, где располагались заводы, была иная жизнь и иные настроения. Но это – где-то в другом мире, а здесь все было хорошо. Ну, почти хорошо, но как-нибудь образуется.

Однажды под вечер, после долгой возни с бумагами, беготни по банкам и самым разным учреждениям, бабушка пригласила его к себе. В бабушкиной квартире жили дядя Эфроим с женой и сыном, сестра Рива. Брат Додика, Рувим, не приехал: самолеты в его жизни заслонили все. Еще при встрече в Бобруйске он рассказал, что сам уже поднимался в небо. И после этого жить «ползая по земле» он просто не может. Квартира бабушки – огромная, в два этажа, и множество комнат – напоминала дом в Бобруйске. Не только обилием вещей, прибывших вместе с ней, или окнами в пол, но каким-то неуловимым запахом дома. Разговор был тот самый, ожидаемый.

– Додик? – подняла глаза бабушка на вошедшего в ее комнату внука. – Проходи, садись. Надо было сразу с тобой все обговорить. Да времени все не было.

– Я слушаю, бабушка, – ответил внук, присаживаясь.

– Ты уже понимаешь, что мы сворачиваем дела в России. И, конечно, интересуешься, почему я так поступаю. Так?

– Вам виднее, бабушка.

– Не лукавь.

– Да. Не понимаю. Неужели все настолько плохо?

– Как посмотреть. Если по биржевым котировкам, то все не очень плохо, хотя и не радужно. Если бы дело было только в них, я не стала бы создавать столько цорес всем окружающим. Бывало и хуже, но выкручивались. Дело в другом. Это непросто объяснить. Даже сказать непросто. Тут не логика, которую так любит твой дядя. Тут чутье. Я почувствовала: Россия почему-то сошла с ума. Почему? Не знаю. Даже не скажу, что для меня было последней

каплей. Но точно знаю, что она сошла с ума, а в стране, которая сошла с ума, делать дела я не смогу. Я тебе говорила, что хочу успеть позаботиться обо всех вас до своей смерти?

– Говорила, бабушка.

– Вот и я о том. Конечно, сегодня мы многое потеряем.

– Я посчитал. Мы при продаже и переводе потеряли почти пятнадцать процентов капитала. Кроме того, если прибавить те контракты, которые могли быть, можно добавить еще пять.

– Все так, внучек. Это еще не все. Кое-что придется оставить здесь. Я продала не все дома в Бобруйске. Какие-то деньги тоже пока останутся здесь. Я тебе потом все расскажу. Итого, потери будут около трети. Но это допустимо. Я положила на издержки тридцать пять процентов. Зато остальное благополучно отбыло частично в Британию, частично в Американские штаты. Это будет нашей веревочкой, по которой мы выберемся в новую жизнь. Я думаю, что, как только ты окончишь училище, мы все уедем в Лондон. Там, в центре мировой торговли, мы все начнем сначала. Все вместе. Ты меня понимаешь?

– Бабушка, родная моя! Но почему мы должны уезжать из России? Ведь через полгода или год война закончится. А там будут стройки, будут засеиваться новые поля. Мы с нашими лесопилками и мельницами могли бы сделать хорошие дела. Разве нет?

– Давид, – голос бабушки вдруг стал сильным и горьким. – Я тоже долго, слишком долго думала именно так. Но все это зря. Люди попробовали крови, узнали ненависть. В Бобруйске самые ленивые и нищие соорудили... как его... совет депутатов. Вот этот совет депутатов уже почти правит в городе. Они – евреи, поляки, русские – грабят или очень хотят грабить таких же евреев, поляков и русских. Все связи, которые делали их людьми, ослабли. Пойми, хорошо уже ничего не будет. Все будет хуже и хуже.

Друзья твоего дяди Насона, которые надеются быть здесь главными, заблуждаются. Их отшвырнут и не заметят. Думаешь, мне хочется на старости лет, с моим положением и связями бросать все и устраивать этот тарарам с переездом? Ни Боже ж мой. Я отбивалась от этой мысли, как могла. Но в конце концов поняла, что решение здесь может быть только одно. И я его принимаю.

– Я могу подумать, бабушка?

– Нет. Поверь, я знаю, как лучше. Когда-нибудь, хоть раз, я сделала что-то тебе во вред?

– Нет, но...

– Вот и никаких «но». Объясни все Розочке. Потихоньку готовьтесь. Думаю, что около полугода у нас еще есть. Но не больше. В июле ты получишь свидетельство об окончании училища. А в августе мы уедем через Гельсингфорс. Навсегда. Если я окажусь неправа, то Всеблагий меня простит. Совсем плохо вам там не будет. Зато, если я окажусь права, то вы все будете живы. А это для меня самое важное. Ты понял? Вот и хорошо. Иди.

Вечером, в кабинете, Додик рассказал все Розочке. Как ни странно, Розочка отнеслась к известию вполне спокойно. Оказалось, что уже несколько месяцев в письмах от ее родителей обсуждался переезд. Правда, Алекснянские пока перебирались из прифронтового Минска в Москву. Но то, что жизнь меняется, причем не в лучшую сторону, понимали и они. Понимали это все вокруг. Особенно в последние месяцы. Но почему-то это понимание никак не воплощалось хоть в каких-то действиях. Вокруг шли одни разговоры о том, как все еще может кончиться вполне благополучно. Эти разговоры часто были остроумными и даже мудрыми. Только до дел они не доходили.

Как раз что-то делали те, кто вел страну к катастрофе. Причем, преуспевали здесь и правительством, и социалисты. В Петрограде были расквартированы части «четвертой очереди», то есть резервисты, которых должны были отправить в окопы, причем не молодые люди, а резервисты старших возрастов, оторванные от семей и хозяйства. Брожение в этих частях было постоянным. Но то, что рядом с солдатами, обреченными на холод, окопную грязь и, быть может, смерть, разворачивались картины «яркой жизни» столицы, было для них невыносимым.

Агитаторов самого разного толка здесь встречали, как своих, прятали от начальства. Матросы и солдаты, агитаторы-социалисты собирались по городу. Их становилось все больше. Власти, напротив, проявляли непонятное прекраснодушие по отношению к ним. То есть, кто-то кого-то арестовывал, об этом писали в газетах, этим возмущались прогрессивные журналисты. Но брожение окраин становилось в центре все слышнее. Казалось, что власть этими арестами не столько борется с подступающим хаосом, сколько пытается убедить себя, что она еще есть.

Несмотря на богатый урожай и введение обязательных поставок в казну, в больших городах многие голодали. Крестьяне в ожидании «настоящей цены» прятали урожай. Власть все стремительнее теряла нити управления и представление о том, что происходит в стране. Таяла, как дым. Оставались только ее внешние атрибуты. Жители гигантской империи, еще не оголодавшие и не озлобившиеся на мир, заворуженно смотрели на приближающийся край, не в силах сделать хоть что-то. Бабушка была здесь редким исключением. Остальные в лучшем случае пытались жить, как прежде, старательно не замечая происходящего.

Додик мучительно пытался понять причины этого состояния людей в преддверии бездны. Жалко их (и себя)? Безусловно, жалко. Но почему? Почему умные и образованные люди упорно заслоняются от реальности с помощью красивых слов и показных действий? Может быть, потому, что их жизнь – жизнь столичных умников и надземных властителей – никогда не соотносилась с той почвой, которая их кормит? Они и прежде жили чужими в стране, только сама страна об этом не догадывалась. А тут вдруг встала перед ними во весь свой гигантский рост и пристально посмотрела в глаза. Этот страшный и незнакомый взгляд и заворужил всех, кто мог хоть что-то сделать.

В обзленном и голодном городе, как и прежде, зажигались огни театров, работал синематограф, рестораны распирало от публики. Балы и вечеринки шли одна за другой, словно не было ни стачек заводских рабочих, ни полного развала частей Петроградского гарнизона, зараженного смутой. Это казалось намеренным издевательством, но было, скорее, подсознательным желанием элиты гибнущей империи не пустить в жизнь то страшное, что подступало со всех сторон.

Но, как ни странно, жизнь Давида и Розочки продолжалась почти без изменений. Додик после окончания практической части обучения вновь приступил к занятиям в училище, где единственным новшеством было создание совета учащихся и разделение педагогов по партийным симпатиям. Юноша упорно шел к золотой медали лучшего выпускника, хотя особого смысла в ней уже не было. Скорее, привычка быть лучшим. Смешно, проживая в Лондоне, быть почетным гражданином Петрограда.

Вечером теперь чаще оставались дома. Здесь все было, как прежде: тепло натопленные печи, уютный свет лампы под абажуром... Дом стал средоточием счастья, которое вдруг оказалось хрупким, как хрустальная ваза, но от того еще более ценным и желанным.

Только на русский новый год выбрались к бабушке, традиционно устроившей собрание с танцами, угощением и множеством увеселений. Собрались все члены семьи, кто в это время был в городе. Кроме семьи было множество знакомых и каких-то не вполне знакомых людей. Играл приглашенный оркестр. В самой большой комнате квартиры устроили танцевальную залу, освободив центр. Бабушка царила на этом собрании. О готовящемся отъезде не говорилось. Пили шампанское, провозглашали тосты и здравицы, кавалеры галантно ухаживали за дамами.

Додик и Розочка так и не смогли включиться в общее веселье. Что-то мешало. Что-то во всем этом было неправильное. Холодное и неприятное чувство неуместного веселья перед казнью томило обоих. Так они и просидели до конца вечера на удобном диванчике у стены, отбиваясь от попыток приобщить их к танцам. Захмелевшая от шампанского Розочка уснула в пролетке, под утро доставившей молодых домой. Додик осторожно вынес любимую из про-

летки. Думал донести до двери. Не вышло. Пришлось будить. В освещенных окнах домов еще мелькали тени уходящего праздника. Наступил 1917 год.

В новом году события уже не нарастали, а неслись, как телега с горы. В феврале начались голодные бунты. Как-то горничная Ксения, вернувшись с рынка, рассказала «барыне», что на Петроградской стороне люди громят хлебные лавки и магазины, а солдаты из гарнизона вышли на улицу с ружьями. То здесь, то там вспыхивали слухи, что на Петроградской стороне убили полицейского, а на Выборгской стороне толпа рабочих избила чиновника, пытавшегося уговорить их разойтись. Нарыв в самом сердце империи назревал.

К концу февраля мало кто из официальных лиц мог без опаски покинуть центр города, жавшийся к Зимнему дворцу и Адмиралтейству. Возле мостов были выставлены посты солдат с оружием, по улицам проносились конные отряды казаков. Но ни выстрелы в толпу, ни казачьи части с нагайками уже не могли удержать прорвавшую плотину человеческой ненависти, мишенью которой оказался государь-император. Додик, попавший как-то на Адмиралтейскую набережную, видел вдали огромные толпы, рвущиеся к центру. По другой стороне Невы, уже на Васильевском острове, шла демонстрация студентов университета.

В училище прекратились занятия – профессура просто опасалась выходить из дома. Все свободное время, которого вдруг оказалось много, Додик проводил дома, изредка посещая бабушку или дядю Насона. Ему же приходилось ходить по магазинам, потому что горничная и кухарка наотрез отказывались покидать дом, хотя в центре пока было тихо. Впрочем, недолго. Самого Додика все чаще охватывало чувство безнадежности. Они опоздали. То страшное, от чего собиралась бежать бабушка со всеми своими родственниками и ближайшими работниками, их догнало. Оно здесь, рядом.

27-го февраля выстрелы стали доноситься со стороны Литейного проспекта и Троицкого моста. Толпы вооруженного и безоружного народа текли по проспектам к центру, сливались в огромные озера митингов. Девятый вал катил по городу. К рабочим и солдатам примкнули студенты, просто горожане. По словам дядюшки, это движение возглавили представители Государственной Думы. Но движение, похоже, об этом не догадывалось. Город уже дышал насилием. Улицы опустели. Горел большой дом на Шпалерной. Были разгромлены «Кресты», охранное отделение. Не закрывшиеся лавки грабили, били витрины магазинов. Отчаяние в еще недавно счастливом мирке Додика и Розочки перешло в оцепенение. Молодые сидели в кабинете, держась за руки. Здесь же сидели девушки-служанки. Казалось, что вместе не так страшно.

Временами кухарка Ксения всхлипывала, а горничная Варвара мелко крестилась. Розочка из последних сил пыталась держаться, как будто заслоняясь этим от надвигающегося ужаса. Додик пытался успокаивать женщин. Достал из ящика стола маленький пистолетик, некогда купленный в оружейной лавке, и положил его на стол, как зримый символ своей способности защитить близких. Но сам он в эту свою способность уже не очень верил. Огромный мир гигантского города, столицы огромной страны, сжался до комнаты, где от страха и неопределенности страдали три молодые женщины и молодой мужчина. Все остальное превратилось в пустой звук, воспоминание.

Вечером 1-го марта в дверь квартиры Додика и Розочки постучали с парадного. Он, как единственный мужчина, пошел открывать.

– Кто там?

– Мы от хозяйки, Паи Абрамовны, – проговорили из-за двери.

Вошли трое крепких, скромно, но прилично одетых мужчин, с какими-то не питерскими лицами.

– Здравствуйте, Давид Юделевич! Хозяйка сказала, что в городе неспокойно, и мы побудем с вами здесь, пока все не утихнет, – проговорил один из вошедших. Додик не без труда узнал в нем служащего из бабушкиной конторы, обеспечивающего охрану грузов.

– А как она сама? – спросил Додик. Телефонная связь не работала, добираться же до Невского проспекта в эти дни было почти безумием. Выстрелы раздавались со всех сторон, толпа уже лютовала в самом центре. Права была бабушка: страна сошла с ума. Только случилось это раньше, чем она предсказывала.

– Хозяйка? – переспросил гость (остальные стояли молча). – Да все в порядке. Ее голова никому пропасть не даст.

Додик спохватился, что держит гостей в прихожей.

– Вы проходите, пожалуйста, – проговорил он, пропуская гостей в квартиру.

– Нет, Давид Юделевич! Мы побудем у входа. Только вечером нам место, где спать, выделите. Остальное мы сами порешаем. Вот и девочки нам помогут, – подмигнул он показавшимся в прихожей горничной и кухарке. От мужчин шла какая-то эманация уверенности. Додик облегченно вздохнул.

Все решилось наилучшим образом. Девушки расчистили кладовую, поставили там топчан и застелили его старыми шубами. Мужчины, обнаружив, что припасы в доме подходят к концу, выбрались на улицу.

Денег не взяли. Додик хотел протестовать. Но старший из пришедших, которого звали Петр, объяснил ему, что лавки все равно закрыты. А у них – «свои средства». Юноша боялся даже подумать, какие это средства. Посыльные ходили долго. Но вернулись, нагруженные сумками, которые тут же последовали на кухню.

Так, под охраной, они и прожили это тревожное время – хоть и волнительно, но неплохо. Происходящее на улицах как будто отодвинулось в сторону. Крепкие мужчины, присланные бабушкой, встали между молодыми супругами и смутой, заслонили их. Напротив, Англия стала казаться чем-то близким, реальным и даже желаемым. Днем Додик читал книги по организации дела в Англии. Читал Британские газеты. После обеда, во дворе, Петр учил его стрелять из пистолета. Стреляли теперь везде, потому что выстрелы со двора никого не привлекали.

Некогда Додик показывали, как стреляют; теперь он порой стал и попадать. Петр показал ему и несколько приемов кулачного боя. Сказать, что Додик их освоил, будет слишком, но он очень старался. И невероятно гордился собой, когда что-то получалось. Розочка рассматривала модные журналы с выкройками, думала об их той, другой жизни.

Вечерами охранники и девушки собирались в их комнате (один всегда оставался у двери), а молодые привычно сидели в кабинете, обсуждая свою будущую жизнь. Так продолжалось почти три недели. Во второй половине марта ситуация как-то успокоилась.

Государь отрекся. Радостные толпы вновь покатили по Питеру. Оказалось, что нереволюционеров в городе почти не было. С официальных зданий сбивали двуглавых орлов, снимали портреты государя, которого теперь называли «полковник Романов». Но в этот раз уже дворцов не жгли. Напротив, происходило братание всех со всеми. Красный бант на груди стал знаком своего, знаком сторонника «нового мира». Красные банты носили и рабочие, и члены правительства, почему-то называвшегося временным. Красные банты были даже на груди у полицейских, которых теперь называли милиционерами.

Вновь открылись магазины. И хоть цены опять несколько выросли, но продукты были. Постепенно, один за другим заработали заводы. Начались занятия в университете, да и в училище. Во главе страны стали те самые «хорошие люди», о которых спорили на вечерах у дяди Насона. Похоже, бабушка все же поторопилась. Или нет?

Однако успокоение в городе было совсем не полным: толпы схлынули, но какие-то странные люди продолжали собираться на улицах, выкрикивали лозунги против этих самых «хороших людей». Они требовали немедленного мира, хлеба и сокращения рабочего дня на заводах. Окраины продолжали бурлить. Еды в городе не хватало. Был создан совет депутатов, которому подчинялись солдаты гарнизона. Но приличные люди и жили прилично, продолжая возмущаться непоследовательностью реформ.

К концу весны, когда вся семья и ее присные активно готовились к отъезду, а у Додика приближалась пора выпускных экзаменов, из Москвы дошло письмо от отца Розочки, перевернувшее всю их жизнь. В письме сообщалось, что мама Розочки, никогда не отличавшаяся крепким здоровьем, заболела. Врачи подозревают чахотку. Лечение на Французской Ривьере или в Италии невозможно по причине войны, но возможно в Крыму. Отец просит ее, Розочку, быть с матерью, поскольку сам он уехать из Москвы никак не может, а Вера и Люба еще слишком малы и легкомысленны.

Сказать, что Розочка была расстроена – ничего не сказать. И она, и Додик были ошарашены. Долго обговаривали, но не помочь больной матери было невозможно. Это понимал и Додик. Поняла это и Пая-Брайна. Хоть это и ломало ее планы, но святость семьи была для нее превыше всего. На общем совете решили, что Розочка с сопровождающим поедет в Москву. А уже оттуда путешествие продумает ее отец. Лето она будет ухаживать за матерью, к осени же вернется. Тогда все и тронутся в дальний путь.

Глава 4. Решение принято

Розочка уехала. Жизнь Додика вдруг стала пустой и ненужной. Нет, он, как и прежде, готовился к выпускным экзаменам, до которых оставалось все меньше времени, помогал родне с организацией переезда. Только все эти занятия стали какими-то пресными и не трогающими. Вечерами он один садился в кабинете и писал Розочке длинные письма, мало отличающиеся друг от друга. Он писал, что очень скучает, что ждет ее возвращения. Подробно описывал все, что происходило за время, прошедшее с отправления последнего письма.

Ответные письма тоже были нередкими, хотя почта и работала все хуже. Розочка описывала, как она прибыла в Москву, как встретилась со всей родней. Долго описывала состояние здоровья мамы. Хотя нежные слова в строчках ее писем встречались реже, для Додика каждое ее слово дышало нежностью и любовью.

К середине июня, когда в училище шли выпускные экзамены, пришло письмо, что Розочка с мамой и двоюродным братом Мироном, который должен был оберегать их, благополучно добрались до Ялты. При внимательном обследовании чахотка у матери не подтвердилась. Розочка очень тому радовалась. Но лечение было прописано. Врач сказал, что мама перенесла воспаление легких и, если не лечить, то все может кончиться очень печально. После лечения, которое должно завершиться в августе или начале сентября, они планируют поехать обратно. Это было важно. Додик в первую же свободную минуту поспешил к бабушке.

После долгих разговоров и просьб отъезд было решено отодвинуть до начала октября. Но ждать дольше бабушка отказывалась.

– Давид! – строго сказала она, выпрямившись и глядя в сторону. – Ты знаешь, что я тебя люблю больше, чем своих собственных сыновей.

– Знаю, бабушка, – тихо ответил юноша.

– Но как бы я тебя ни любила, в сентябре, в самом крайнем случае – в начале октября, мы все уедем. Я не могу жертвовать всей семьей. Не имею права. Мне по сердцу твоя Розочка. Но и это не станет причиной, по которой мы задержимся. Если вы успеете, то я буду прыгать от радости. Если нет, то мне будет больно. Только это ничего не изменит. Мы уедем.

– Я понимаю.

– Пока не понимаешь, поскольку сам еще юный. Если доживешь до моих лет, до детей и внуков, то поймешь. Раньше времени не забивай себе голову. Я надеюсь, что Розочка вернется и все будет хорошо.

Давид уже не чувствовал уверенности в голосе бабушки. Она «отрезала» этот кусок души. Тот кусок, где жила нежность и любовь к нему, как некогда отрезала кусок души, связанный с дочерью. Додик печально шел домой, не особенно разбираясь в том, что происходит вокруг. Обида и растерянность душили его. Он настолько привык ощущать себя частью большой семьи, жить ее интересами, что перспектива жизни без всего этого казалась не просто печальной, а невозможной для совсем молодого человека.

Мимо него проходили какие-то люди, проезжали пролетки. Он не видел. Свернул с Невского. Остановился на мосту над каналом. Вода была совсем близко. Вот по воде корабль и повезет его родню к другой, новой жизни. Наверное, эта жизнь будет лучше, чем здесь. Может, бросить все эти трудности и проблемы, да отправиться с ними? А Ефим Исаакович потом привезет Розочку в Лондон. На какой-то миг эта мысль показалась ему привлекательной. Но только на миг. Предать жену? Нет. Он ее обязательно дождет. Уедут родственники или нет – в конце концов, не так уж и важно. Важно, чтобы они с Розочкой были вместе.

Стало легче, хотя понятнее не стало. Дни снова потекли своим чередом. С тем огромным трудом, с которым дается всякое ненужное дело, он сдал экзамены. Большую золотую медаль

первого ученика ему не дали. Дали малую, что тоже неплохо. Точнее, было бы неплохо в прошлой жизни. А в этой? Кто ж его знает...

Окончание училища, которое уже не именовали «императорским», отметили ужином в кругу семьи. В этот раз за столом чувствовалось напряжение: то, что Розочка может не успеть к отъезду, понимали все.

В июле по городу опять прошли демонстрации. В отличие от февраля, шли они с оружием. Оно и понятно: свобода – это хорошо, но еды не прибавилось, война шла, а расквартированные части ехать на фронт не хотели. Прекращение войны становилось не просто лозунгом, но навязчивой идеей взбудораженных масс. Кроме лозунгов про мир и хлеб, демонстранты несли полотнища с лозунгами про власть советам. Видимо, речь шла про те самые советы депутатов.

Глава правительства князь Львов вывел на улицу казачьи части. Опять, как в феврале, то там, то тут завязывались перестрелки. Но в этот раз фортуна была на стороне Временного правительства. Войска популярного генерала Корнилова, ставшего командующим вооруженными силами округа, заняли город. Социалистов, организовавших выступление, арестовывали. Рабочих разоружали, били нагайками, оттесняли от центра на окраины, где просто разгоняли выстрелами. Расформированию подверглись и части, выразившие симпатии социал-демократам. Правда, Львову пришлось уйти в отставку, а новым кумиром Петрограда и всей России стал министр юстиции господин Керенский, который был еще и членом Совета депутатов.

Самое странное, что новый глава страны был из того самого сословия, что и дядюшка Насон. Может быть, они даже были знакомы. Однако, в отличие от дядюшки, уютно чувствовавшего себя только в салоне или в аудитории, Александр Федорович Керенский любил толпу, хорошо с ней общался. И толпа платила ему тем же самым. Полувоенный френч, холодные внимательные глаза, яркая речь – что еще нужно для народного кумира?

А время шло. Короткое северное лето повернуло на осень. Август близился к концу, а Розочки все не было. Появился новый бич – дезертиры. Все последние годы дезертиров хватало, но теперь это приняло какую-то острую форму. Десятки тысяч вооруженных людей, бежавших с фронта или не доехавших до него, бродили по стране, нападали на усадьбы и дачи, грабили железнодорожные поезда и даже станции. Особенно страдал от них юг страны. В какой-то момент прервалась всякая связь с Крымом. Доходили какие-то неопределенные вести про взорванную в Крыму железную дорогу. Слухи были неопределенные, но печальные. В Москве тоже ничего не знали о судьбе родных. Додик едва не каждый день звонил тестю. Ефим Алекснянский клял себя, что отправил жену с дочерью туда. Только толку от тех проклятий было чуть.

Дождливый питерский сентябрь шел уже к концу. В городе было беспокойно. Вечерами люди старались не выходить из дома. По городу ходили вооруженные матросы, останавливая всех, кто казался им подозрительным. Участились грабежи. То в одном, то в другом месте происходили перестрелки. Кто теперь власть было все менее понятно.

Отъезд семьи Додика приближался. Путь был до Гельсингфорса, а там – на корабле до Лондона. Ехали не только бабушка с детьми и внуками – с ними отбывали едва ли не двадцать человек охранников, приказчиков и прочего нужного люда, решившего и далее быть с семьей. За несколько дней до отъезда, когда было уже понятно, что Розочка не приедет, бабушка попросила Давида зайти к ней. Последнее время он редко виделся с родней. Все как-то незаметно отделилось от него, потому приглашению он удивился. Но пошел.

Квартира уже не напоминала Бобруйск. Скорее всего, она вообще ничего не напоминала. Большая часть вещей была отослана. В полупустой комнате в кресле сидела его вдруг постаревшая бабушка. Пая-Брайна – символ могущества семьи – неожиданно стала выглядеть на свои семьдесят три года. Спина сгорбилась. Глаза уже не смотрели столь остро и властно. Даже голос изменился, став мягче и тише.

– Здравствуй, Давид! – медленно проговорила она, когда внук вошел в комнату. – Вот и прощаемся. Все, что могла, на что Всевышний дал мне сил, я сделала. Ты один и остался моей невыполненной ношей. Твой брат сам не пожелал ехать с нами.

– Бабушка, – обнял старую женщину Давид. – Ты мне дала все. Даже Розочку я получил через твое благословение.

Она улыбнулась. В этот момент Додик почувствовал все ее усталость, все печали, которые терзали женщину, бывшую для него и матерью, и отцом.

– Любовь – великая сила, – печально и как-то торжественно проговорила она. – Может, и тебя она как-то поддержит. А пока послушай старую бабку. Не можем мы больше ждать. Через два дня отбываем в Гельсинфорс и дальше.

– Я знаю. Я остаюсь ждать Розочку.

Он почти физически почувствовал нож, который отрезает его от семьи.

– Это понятно. В этом я и не сомневалась. Наоборот, если бы ты ее бросил, я бы сильно удивилась. Я вот что думаю. У меня лежат твои пятьдесят тысяч рублей. Они целы. Только сейчас держать деньги в рублях смысла нет никакого. Если случится то, чего я боюсь, они превратятся в пустые бумажки. Потому я превратила их в драгоценности. Они здесь. Ну и немножко рублей оставила. Лишними не будут.

Она подала внуку небольшой саквояж и кошель.

– Если все сложится хорошо, то ты сам попробуй пробраться к нам. Мы тебя будем ждать, – продолжала бабушка. – Если нет – к сожалению, такое тоже может случиться – не сиди в столице. Здесь все будет не просто плохо, но очень плохо. Чума всегда идет из столиц. Лучше попробуй затеряться в глубинке. Там с этими деньгами вы, может быть, сможете прожить спокойно. По крайней мере, какой-то шанс на это остается. Ты все понял? Вот и молодец. Ступай. Провожать нас не приходи. Не нужно.

Она отвернулась к окну, даже сейчас не желая показать никому в мире свою слабость. Ее спина как-то непривычно для Додика сгорбилась, а голова мелко затряслась.

– Иди! – как-то зло и одновременно потерянно бросила она.

Давид, сгорбившись, вышел на Невский, прижимая к себе саквояж – последнюю уступку нежности старой Паи-Брайны к своему внуку. Как и прежде, по проспекту катил вал людей, пробирались конки. Ранний вечер опускался над Питером. Пожалуй, никогда – даже в свой самый первый день в городе на Неве – юноша не чувствовал себя таким одиноким. Восемнадцать лет, не беден, не уродлив, образован и... никому в этом мире не нужен. Ни жители Петрограда, спешившие по каким-то своим, им известным, делам, ни кучки революционной солдатни не замечали Давида. Всем чужой, он шел через ставший вдруг чужим для него город.

А дни шли. Давид почти выпал из жизни. Да и жизнь стоила того, чтобы из нее выпасть: по городу закрывались присутственные места, магазины, постоянно шли столкновения каких-то вооруженных людей. Как-то утром, выйдя из дома, он узнал, что Временное правительство рухнуло окончательно, а власть захватил Совет депутатов от матросов, солдат и рабочих.

Дома тоже все потихоньку разваливалось. Прислуга разбежалась. Девушки, извинившись перед «барином», из голодного Питера уехали в свои деревни. Да Давид особенно и не препятствовал этому. Мир рушился, а отсутствие обеда – только одна черточка в картине этого разрушения. Вернувшись с очередной прогулки, совмещенной с закупками какой-нибудь снеди, он вдруг понял, что больше оставаться здесь не может и не хочет.

В пустой квартире было гулко и странно. Он повесил плащ. Медленно, очень медленно принялся растапливать печь. Как и вчера, как и на прошлой неделе. Не хотелось двигаться, думать, дышать. Огонь все никак не занимался. – Бесплезный человек в бесплезном и злом мире, – подумалось ему. – Даже печь толком не растоплю... Почему-то эта мысль разозлила и успокоила его. Движения стали точнее, дрова занялись. Протопив печь, он прошел к бару, налил в бокал портвейна. С бокалом в руках юноша уселся в кресло и задумался.

Семья уехала. Они ли его бросили, он ли их, уже и не важно. Важно, что из всего, чем он дорожил, осталось только одно – его жена, его любимая. Остаться, чтобы ждать возвращения Розочки, было совершенно бессмысленно. Да и сможет ли она вернуться? Как она пройдет через всю Россию, сошедшую с ума, терзаемую дезертирами и взбунтовавшимися крестьянами, которые жгут дома землевладельцев, захватывают поселки?

Он вспомнил – нет, он увидел – свою жену. Вот она сидит на диване, листая какой-то роман. Вот они вместе гуляют по Невскому. А вот... Дальше захватило дыхание. Казалось, еще усилие, и произойдет чудо, он сможет коснуться ее, прижать к себе. Но чуда не произошло. В пустой квартире возле печи сидел молодой человек, выброшенный из жизни. Розочка – последнее светлое пятно в этом мире. Точнее, в мире, в котором ему хочется жить. Без нее просто не нужно оно все. Постепенно в голове вырисовывался план.

Для начала нужно доехать до Москвы; там живет Розочкин отец. У него нужно оставить саквояж. Ехать с золотом через всю страну – это глупо. Потом поехать на юг. А там Всеблагоей не даст пропасть ни мне, ни Розочке. Собственно, никакого другого плана и быть не могло. Но проговорить это себе самому было непросто.

Квартира, Петроград, пока он здесь оставался, позволяли тешить себя иллюзией стабильности, возможного возврата к прежней жизни. Да и полнейшая апатия, все чаще накатывающая на него, не способствовала принятию хоть какого-то решения. Вот завтра, в крайнем случае, на следующей неделе. Только не сегодня. Теперь возврата уже не будет. От этого становилось страшно и весело одновременно. Давид допил бокал и... спокойно заснул, привалившись на диван.

Проснулся он уже вечером. За окнами стояла темнота, но часы показывали только восемь часов после полудня. Он уедет сегодня же. Начались сборы. Подступала поздняя осень, потому были выбраны теплый дорожный костюм и пальто неброского серого цвета. Кепка сменила шляпу. В дорожный саквояж, несколько больший, чем тот, что передала бабушка, он сложил дарение в угол, тщательно завернув его в несколько исподних рубаш. Собрал вещи, прикрыл ими мешок с побрякушками. В карман засунул пистолетик. Конечно, не маузер, но хоть как-то поможет оборониться при случае. Кажется, все. Ехать с большим багажом нет и смысла.

Солнце еще не встало, когда Додик подходил к Николаевскому вокзалу. Поезда, как ни странно, ходили по расписанию. Он без каких-либо проблем купил билет на поезд до Москвы и уселся ждать отправления. Между тем, на перроне вокзала происходило что-то не вполне понятное. Какие-то вооруженные матросы громко спорили с такой же вооруженной охраной вокзала. Громко кричали, размахивали перед носом друг у друга какими-то бумагами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.